Т24 3/63

Н. Н. ФИРСОВ

ПУГАЧЕВЩИНА

РАБОЧЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРИБОЙ»
ЛЕНИНГРАД 1925

ВОЗВРАТИТЕ КНИГУ НЕ ПОЗЖЕ

обозначенного здесь срока.

22/X 175	9/XII-355	28/VIII 1956
3/XI-175	4/I 2841	25/I-1138
17/I 1009	19/3 3521	
20/III 1364	7/IV-4074	
6/XI-2029	17/X 91	
26/XI-3284		

T24 3/63

ИЗД
ПРИБОЙ

Пугачев в тюрьме

Проф. Н. Н. ФИРСОВ

Т24 3/63

ПУГАЧЕВЩИНА

ОПЫТ СОЦИОЛОГО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

947
Ф-60

Народ туго и не скоро восстает, он не играет, не шутит переменами, он так беден, что долго не рискует последним, его восстание всегда глубоко выстраданное.

Герцен. «Крещеная собственность».

Библиотека-Читальня при КЛУБЕ им. т. КУХМИСТЕРОВА, Московско-Курской ж. д.

3-е ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ ИЗДАНИЕ

Рабочее Издательство „ПРИБОЙ“
Ленинград 1924

Семьевский В. И.
царствование Екатерины II

447543

Ленинградский гублит. № 11929 Печ. 8.125 экз.—8¼ л.—Зак. № 1462.
Государ. тип. им. тов. Зиновьева. Ленинград. Социалистическая, 14.

ПРЕДИСЛОВИЕ

ко 2-му изданию.

Это издание отличается от предшествующего немногим, ибо основные положения своего этюда и общий тон его автор не счел нужным изменять: изменению и даже исключению подверглись лишь две-три фразы, имевшие в виду цензурные условия той поры (1908 г.). Гораздо более существенными являются в настоящем издании *дополнения*, касающиеся сельской жизни во время и после бунта: правда, дополнения эти не велики, но они, будучи заимствованы из рукописных документов, неожиданно нашедшихся в архиве бывшего министерства юстиции, являются новостью в богатой литературе о пугачевщине.

Автор.

22-го февраля 1921 г.
Москва.

ПРЕДИСЛОВИЕ

к 3-му изданию.

В январе (10/23) 1925 г. исполнится 150 лет с момента казни Пугачева. С 17-го (ст. ст.) сентября 1773 г. по 15-е (ст. ст.) сентября 1774 г. шла борьба, возглавлявшаяся этим человеком, борьба разных групп населения, особенно крестьянства России, против дворянского правительства Екатерины II и самого дворянства, как командующего рабовладельческого класса; значит, исполнилось 150 лет с эпохи,

когда не в первый раз, но мощно и беспощадно трудящиеся России заявили о своем праве на самостоятельную жизнь. Не удалось тогда им сбросить с себя петлю, но впечатление было произведено на правящий класс,—и неизгладимое. Эпоха, названная в народе пугачевщиной, явилась ярким, облитым кровью, маяком на пути вековой борьбы угнетенных с поработителями, бедных с богатыми. Багряный цвет этого маяка, на котором невольно останавливался взор российского дворянина, когда он оборачивался назад, пугал и заставил его впоследствии пойти на уступки, правда, не такие, чтобы можно было счесть вековую борьбу конченной. Борьба продолжалась и после так называемого „освобождения". Шла она уже за землю, в которую дворянин-помещик крепче вцепился, чем в крестьянскую душу, и привела к полному, действительному освобождению, с получением всей земли, в дни Октябрьской революции, положившей начало новой эпохи бытия всех трудящихся в России. Но наступление этой новой эпохи в отношении громаднейшего большинства трудящихся—многомиллионного крестьянства—было бы непонятно, если бы мы позабыли старые великие этапы народной борьбы, народной истории. В этом заключается основание, почему необходимо возобновлять в памяти такие эпохи нашего народного прошлого, как пугачевщина, и это мы делаем настоящим 3-м изданием, исправленным и дополненным по новым материалам, внешним поводом к чему служит и вышеуказанная юбилейная дата.

Думаем, что пролетариату и крестьянству не пристало забывать о старых отчаянно-смелых порывах трудящихся в России к свободе и благосостоянию, „спокойной жизни",— как говорил Пугачев в своих воззваниях,—без „злодеев-дворян и градских мздоимцев".

Автор.

Ленинград,
2-го июля 1924 г.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ.

Восстание народа—„всегда глубоко выстраданное“: это—несомненно одна из социальных аксиом, к которой можно подобрать многочисленные иллюстрации из истории человечества. Екатерина II довольно живо сознавала справедливость этой аксиомы. Источники образования знаменитой русской императрицы давали ей полную возможность понимать, что народ обыкновенно восстает лишь в крайнем случае, когда у него отняты все законные мирные способы улучшить свое невыносимое положение и когда самая смерть начинает представляться не слишком пугающим выходом из медленно, но безостановочно затягиваемой петли. Понеже, поясняла своим слугам императрица, без крайности люди до крайности редко доходят. Вот эта-то „крайность“ и толкала „людей“ в России XVIII века, как везде и всегда, прибегать к разным, тоже крайним, способам протеста, вплоть до страшных народных восстаний...

После кровавого подавления громадного и потому опасного для высших классов разинского восстания положение низов населения не улучшилось, и было бы странно ожидать, что победа правительства и командующих классов над общественными низами, шедшими за непримиримыми элементами казачества, внесла успокоение в народную психику.

Произошло не успокоение, а устрашение, и бунтовские чувства, вырвавшиеся было наружу, опять ушли в глубь народной жизни, продолжая делать в ней не столь заметную, но не менее вредную для общества в его целом повседневную разрушительную работу.

При царе Алексее крестьяне были окончательно закреплены за служилым классом (Соборным Уложением 1648—1649 г.г.), и закон, запрещая крестьянину жаловаться на своего господина, тем самым отдавал крестьянина в бесконтрольное распоряжение помещика. В данном юридическом установлении в значительной степени, разумеется, отразилась реальная действительность; в значительной степени, но не всецело, ибо в XVII ст. крепостная жизнь в России еще далеко не довела крестьянина до того состояния полной „крещеной собственности", которое сделалось бьющим в глаза, ярким фактом ко 2-ой половине XVIII века. Так, продажа крестьян отдельно от земли еще не сделалась в XVII ст. особенно распространенным явлением; это были отдельные случаи тех новых отношений, которые неизбежно должны были возникать в жизни, как естественное последствие прикрепления крестьян к помещикам и вотчинникам. Факт крестьянского прикрепления сразу провел глубокую борозду между служилыми людьми и их крестьянами: первые сделались владельцами, а последние их подданными. Порожденный прикреплением обычай владельцев наказывать своих крестьян еще более углубил социальную борозду между первыми и последними, все более и более усиливая гордость и спесь одних, зависть и ненависть других. Постепенно создавалась атмосфера взаимного отчуждения, становившаяся, что дальше, то более нездоровой и губительной для еще оставшихся в XVII ст. общегражданских прав крестьянства.

В этой атмосфере продолжали развиваться отношения обеих общественных групп, поставленных жизнью и законом в невозможность не считать друг друга врагами...

Введение Петром Первым подушной подати несомненно сделало практику крепостного права еще более тяжелой для народа, ибо через уравнение, в силу этой финансовой реформы, холопов с крестьянами, вместо de jure уничтоженного холопства, в России появилось фактическое холопство крепостных крестьян, состояние которых с течением времени ничем не стало отличаться от состояния подлинных рабов ни в повседневной жизни, ни в мировоззрении владельцев, да подчас и самих забитых крестьян.

В XVIII ст. великие тяготы свалились на податные классы населения.

Петровские войны и реформы потребовали страшного напряжения платежных сил народа; рекрутство и смертоносные работы над основанием новой столицы, Петербурга,—основанием, которое, как известно, закладывалось на зыбкой, болотистой, больной почве,—работы над прорытием каналов потребовали неизмеримое напряжение физических сил народа и взяли от него никем тогда точно не сосчитанную громаду жизней... Народ, особенно в лице главной его массы—крестьянства, щедро платил государству: закабаление крестьянина помещику и увеличение площади крепостного населения путем раздачи государственных крестьян вновь испеченным фельдмаршалам, князьям, графам, министрам, офицерам и чиновникам было наградой народу со стороны государства за принесенные ему мужицкие жертвы...

Изнемогая под бременем требований петровского правительства, особенно в первое время Великой Северной войны, не видя никакого просвета вдали, пугаясь к тому же непонятными „новшествами", дорого ему стоившими, народ и при железной руке первого императора не удерживался и бунтовал, поднимаясь теперь не только за совсем ускользавшую от него социальную свободу и за материальные блага, но и за старую веру, ставшую новым демократическим знаменем в России. Во время булавинского движения прокламация Голого призывала: „Вы, голытьба, все идите со всех городов, конные и пешие, нагие и босые! Идите! Не опасайтесь! Будут вам кони и ружья, и платье, и денежное жалованье. А мы стали за старую веру и за дом пресвятой богородицы, и за вас, и за всю чернь, и чтобы нам не впасть в эллинскую веру".

Государство попрежнему подавляло мятежи, и народ по-старому разбегался „по диким местам", по-старому „брел розно", рассчитывая в поле-степи размыкать свое горе... Бегство—излюбленная форма пассивной оппозиции народа: государственность торжествовала, и побежденные, но не примирившиеся с нею, элементы населения спасались бегством от административного и господского произвола. Недаром главный предводитель донского мятежа при

Петре В., экзальтированный Булавин, предвидя, что посланные на Дон „полководцы“ „поступят насильно“, „преслушав его, великого государя, указ“, и „учинят разорение“, угрожал им уступить Дон „со всеми запольными реками“ и пойти с войском на „иную реку“ [1]. Эту угрозу и исполнил, после гибели Булавина, атаман Некрасов с товарищами: ушел на „иную реку“, бывшую и под иным владычеством [2]. Как видим, народ, даже в лице своих крайних элементов, готов был попрежнему выгораживать царя из широкой сферы угнетения и разорения „черни“: „полководцы“, по мнению Булавина, поступали вопреки воле „великого государя“. Когда же этот великий государь Петр Алексеевич уже очень становился не по душе „черни“, слишком претил своею иноземною внешностью и новшествами православной русской душе, то простой народ и тут не отказывался от своего культа царю: он оставался ему верным, а чтобы выйти из противоречия между своим старинным чувством благоговения и новым чувством отвращения, народ просто об'являл Петра Алексеевича антихристом: он не царь, говорили в народе, и моментально создавались легенды о том, что-де Наталья Кирилловна родила не мальчика, а девочку; вместо же „той царевны“ подложили иноземца, Францова сына Лефорта; „своровали“, конечно, „бояре“. Так народ, оставаясь все на той же ступени культурного развития, при неизменности, следовательно, своего миропонимания, спасал идею непогрешимости истинного царя. Такого царя он готов был и поискать, если его не было на-лицо. „Бояре“ попрежнему должны были одни ответить за все неправды жизни: „нам дело до бояр и которые неправды делают“, — говорил Булавин в своих воззваниях.

Следует поближе войти в психологию простого народа.

Уже давно, еще в те времена, когда только что сформировался московский абсолютизм, между представителем верховной власти, царем, и народом встала высокая стена

[1] „Русский Арх.“, 1894, № 11.

[2] Сначала на Кубань под владычество крымского хана, а потом на нижний Дунай, в турецкие пределы (сюда с Некрасовым перешли не все его товарищи; часть казаков осталась на Кубани).

господ, из-за которой, с течением времени, царь появлялся перед народом все реже и реже, по мере того, как, с увеличением и усилением государства, усложнялся механизм государственного управления, по мере того, как служилый класс специализировался на этом управлении. Народ редко видел царя, но он постоянно видел управляющих его именем. И не только видел их народ, но и ощущал их управление на своей, весьма выносливой, спине; он хорошо знал „слуг царевых" по горькому опыту своему, а такое знание—самое прочное: мысль невольно сосредоточивается на нем и из этой именно сферы, из сферы осязательного опыта, стремится делать выводы. В данном случае главный вывод был ясен: если „бояре" столь нещадно бьют, грабят и вообще „поступают насильно", то, значит, в этом их воля, а царь тут не при чем: ведь он не видит, что делают бояре, — он далеко. Лишь наиболее проницательные и близкие к правительственному механизму люди были убеждены, что и царь видит, да молчит, ибо сам смотрит изо рта бояр. Большинство же, само не видя царя, в простоте душевной полагало, что и царь не видит горя и слез народных, не видит, как его „слуги" приводят народ в „конечное разорение", не видит и не виноват, ибо „бояре" заслонили царя от народа: значит, надо убрать „бояр", но оставить царя. Вот тот практический вывод, который вытекал из народного незнания о царе и из опытной осведомленности народа о своих правителях, „верных" слугах царевых. Этот именно вывод и стремилась осуществить разиновщина. Когда в начале XVIII ст. царь в лице Петра В. надолго вышел из-за высокой стены перед народом в необычном для земного русского бога немецком кафтане, с ухватками голландского шкипера, то и для народа явилась возможность узнать царя, но оставшееся в „простецах" большинство населения, как некогда московский митрополит Филипп, не узнало в необычном облике „царя православного", не узнало его и в „делах царства"; отказавшись от такого ненастоящего, неистинного царя, это большинство перестало понимать и его слуг, как в старину, притеснявших народ царским именем. Царские слуги с Петра I заговорили непонятным народу языком и, вслед-

ствие того, сделались еще более ненавистными ему, как люди совершенно другого, неизвестного „простецам“, мира... Здесь причина, почему народ еще тверже укрепился на мысли, что бояр надо устранить из его жизни; но при всем том, его неизменившееся сознание продолжало цепко держаться за идеальный образ царя—заступника и защитника „черни“.

Таковы тенденции, которые были созданы народною жизнью в московский период, передавший их и петербургскому. Говоря кратко, эти тенденции характеризуются все усиливавшеюся ненавистью народа к боярам и томлением его о настоящем, истинном царе, поисками такового и поддержкой обретенного и об'явившего первенство в государстве интересов „черни“.

Когда при императрице Анне народу стало жить еще хуже, чем при Петре В., главным образом от неослабного выбивания на „правеже“ недоимок, то и тут народные политики нашлись, не забраковали абсолютизма, а только указали, что вся беда в женской неспособности править самостоятельно. Из среды крестьянства в эпоху мрачной бироновщины послышался следующий укоризненный голос: „Где ей столько знать, как мужской пол? Будет веровать боярам; бабьи городы никогда не стоят, бабьи сени высоко не стоят. Хлеб не родится потому, что женский пол царством владеет... Какое житье за бабою?“ Беда, между прочим, заключалась в том, что сильно уменьшался контингент плательщиков, зарегистрированных 1-ой ревизией: так, ко времени Елизаветы Петровны убыло 2.877.767 душ [1], а подати все равно собирались с прежнего фиктивного числа, при чем приходилось платить и за умерших, и за беглых, даже и не имея новых рабочих рук взамен выбывших. Вполне естественно, что народу жилось „что год, то хуже“.

Положение народа ухудшалось с каждым годом, ухудшалось и его настроение, все чаще и чаще выражаясь в отдельных вспышках открытого неповиновения господам и властям.

---

[1] Н. А. Фирсов. Инородч. насел. прежнего Казанского царства. 44; В. Н. Витевский. Н. И. Неплюев и Оренб. край в прежнем его составе до 1758 г., вып. 2, 356.

В самом деле, раздача императрицей Елизаветой тысячами государственных крестьян в крепостную зависимость своим фаворитам, их родственникам и клиентам, приписка государственных крестьян к заводам, дозволение помещикам ссылать своих крестьян на поселение в Сибирь, посягание на веру инородцев, отнятие у них земель, невероятный произвол и насилия администрации—общей и заводской,—особенно на окраинах, вызывали, как и раньше, побеги, самосуд, усиление разбойничества, многочисленные волнения помещичьих и заводских крестьян, а также и инородцев, в особенности—башкирского народа; но все это бледнеет перед пугачевщиной. Ясно, что последняя должна была иметь, сверх указанных, и свои ближайшие причины. Они-то и явились теми кровавыми каплями, которые переполнили огромную чашу народного терпения...

Итак, сделанные выше указания дают нам возможность констатировать прежде всего то обстоятельство, что предшествующая пугачевщине история сыграла свою властную роль в развитии народной оппозиции. Из этого изложения видно, что созданием крепостным правом социальной пропасти между крестьянством и господами и высокой стены, в виде бюрократии, между народными массами и носителем верховной власти повело к возникновению в народной жизни двух важных психологических явлений: 1) отчуждения, со всеми сопутствующими чувствами, между крестьянством и дворянством и 2) ненависти народа к „боярам“, при готовности признать царя, как хозяина государства, если он будет радеть о „черни“, о рабочем люде. Эти явления и послужат для нас исходной точкой в дальнейшем изучении причин пугачевщины.

I.

Условия жизни крестьянства, подготовившие пугачевщину, в царствование Екатерины II.

Вопрос о положении крестьян при Екатерине II находится в связи с вопросом о положении этой женщины на русском престоле.

Если стоять на точке зрения действовавшего в XVIII ст. петровского закона о престолонаследии, то Екатерина не имела ни малейшего права на русский престол. Она умело приобрела его, благодаря удачно сложившимся для нее обстоятельствам. Такое положение всегда особенно сильно обязывает, как по отношению к лицам, содействовавшим придворному перевороту, так и по отношению к тому общественному классу, от которого ожидается наибольшая поддержка.

Гвардия, руководимая, главным образом, Орловыми и их приятелями, совершила дворцовый переворот в пользу Екатерины; на дворянство,—самый влиятельный класс, члены которого наполняли ряды гвардии,—Екатерина надеялась, как на первейшую опору своего, юридически совсем непрочного, положения на русском престоле.

За переворот Екатерина весьма щедро наградила всех содействовавших его осуществлению, прежде всего, разумеется, главных руководителей и участников „действа". Кроме чинов, орденов и денег, все эти лица получили населенные имения, и в „Петербургских Ведомостях" за один август было сообщено о 26-ти счастливцах, получивших в общей сложности 17.200 крестьянских душ. Это было только началом той расточительности, которая удивляла

в Екатерине некоторых современников, но которая, в сущности, лишь вытекает из ее незаконного положения. Алчных ртов было много, и, чтобы удержаться на престоле, надо было платить направо и налево, а основным фондом, куда постоянно прибегали для позаимствований, было русское крестьянство: и вот от 1762 г. до 1772, т.-е. в течение 10 лет, до движения Пугачева, было роздано разным лицам более 66 тыс. душ мужского пола [1]. Само собой понятно, что все эти награждаемые лица были людьми, так или иначе обратившими на себя внимание Екатерины; это—столичные „деятели", с которыми императрице приходилось жить бок-о-бок, а с некоторыми из них и править. Это, так сказать, сливки русского дворянства, из которых должны были взбиваться слава и блеск екатерининского царствования. Но надо было позаботиться и о всем сословии, верхи которого имели столь великое дворцовое значение, о российском дворянстве, уже получившем „вольность" в отношении службы от Петра III, свергнутого и погубленного чадами этого сословия—гвардией. Дворянскую сословную „вольность" Екатерина подтвердила, а к гвардии, как к ближайшей опоре завоеванного оружием трона, стала относиться с сугубою благосклонностью. Далее, Екатерине было ясно, что это дворянское, взысканное всякими милостями, наградами и поблажками, войско будет тем вернее, чем более милостей и привилегий будет оказано вообще всему российскому дворянству. И действительно, Екатерина не отступала ни перед чем, чтобы понравиться дворянству и быть желанной для него царицей. Ученица Вольтера и Монтескье, очень чуткая к тому, чего требовали от нее условия ее положения, обладавшая в высшей степени хитрым умом и гениальностью приспособления к обстоятельствам, всецело усвоила дворянскую политику (ставшую в резкое противоречие с ее теоретическими воззрениями)—и развила ее до крайних пределов. Так, поставив „крепостной вопрос" в „Вольно-Экономическом обществе", как очередной вопрос русской жизни, пропове-

[1] С. М. Соловьев. История России, XXV, 126 и 127. Романович-Славатинский. Дворянство в России, 160 и 161; Дубровин. Пугачев и его сообщники, II, 333.

дуя в „Наказе“ начала „освободительной философии“, Екатерина II в то же время позаботилась о расширении помещичьего права наказаний для крестьян. Мало того, что помещики уже имели право ссылать крестьян в Сибирь на поселение, даже разлучая их с детьми [1]: помещикам было дозволено ссылать „своих людей“ на каторгу, при чем владельцы не лишались права собственности на этих сосланных „людей“ (1765 г.): первые могли потребовать последних обратно к себе. Могли ли, после того, быть какие-либо реальные последствия для русской народной жизни от либерального „Наказа“ императрицы? Впрочем, на реальные последствия, кажется, серьезно и не рассчитывал и сам автор этого компилятивного творения; он не очень и дорожил им, предоставив „вельми разномыслящим персонам“ из окружавших трон вельмож вымарывать из „Наказа“ без стеснения все, что в нем им не понравится. „Персоны“, конечно, постарались, автор же не возразил; он был достаточно скромен, чтобы безропотно согласиться со своими сановными цензорами, вычеркнувшими из „Наказа“ более или менее ясные намеки на ненормальность крепостного права. Такую же скромность и уступчивость проявил автор „Наказа“ в другом своем предприятии, для которого, как известно, и был изготовлен этот знаменитый политический трактат,—в деле не менее знаменитой и прославленной комиссии 1767 г.—для составления проекта Нового Уложения. Как ни стремились затушевать крепостной вопрос, замолчать его,—он все-таки был выдвинут на обсуждение собравшихся депутатов, хотя и не с той стороны, с какой его выдвинули бы сами крепостные, если бы от них были представители в означенной комиссии. Лишь слабый, одинокий голос раздался в защиту крепостных, указывавший на необходимость смягчения крепостного права; громкие и многочисленные голоса говорили в защиту неприкосновенности крепостного права, как основной дворянской прерогативы; другие голоса—купцов, промышленников, духовных, домовитых казаков,—ничего не имея против крепостного права, возражали против монополизирования этого права

[1] Но не с женами,—в интересах колонизации Сибири.

дворянством: через своих представителей, снабженных „наказами“ от пославших их групп населения, недворянские классы тоже требовали себе права приобретать крестьян... Неприятен был дворянству и слабый освободительный голос, и едва-ли не более неприятен был крепостнический вопль других буржуазных классов...

Екатерине сделалось ясным, что между ее либеральными воззрениями и крепостным правом, с одной стороны, и между резко противоположными сословными и классовыми интересами, с другой, много труднее пройти ускоренным скоком (kurz galop), чем между теми, не всегда сговорчивыми друг с другом вельможами, с которыми она решала государственные и иные дела в своем дворце.

Начавшаяся война с Турцией явилась весьма удобным поводом к отсрочке комиссии Нового Уложения; эта последняя более уже не созывалась и, таким образом, в идейном смысле оказалась „вымаранной“ из русской жизни точно так же, как „вельми разномыслившие персоны“ вымарали из екатерининского „Наказа“ не понравившиеся им места.

Екатерина поняла, что дворянство высоко держит крепостное знамя, и преклонилась перед ним. С уничтожением обязательной дворянской службы государству, исчезло то политико-финансовое основание, на котором зиждилась крестьянская крепость, и с государственной точки зрения она превратилась из повинности, обусловленной повинностью служилого класса, в социальную несправедливость; но дворянство эту социальную несправедливость возвело в перл создания, сделав ее главнейшею своею сословною привилегиею, и Екатерина II признала эту дворянскую точку зрения на крепостное право, полагая, что за такое ее признание высшее сословие будет прочной опорой престола.

Насколько дворянство было преисполнено сознанием своей руководящей роли в деле управления народом, весьма рельефно выдвигается, например, в „наказе“ депутату от оренбургского дворянства. Это последнее, не довольствуясь тою огромною властью над крестьянами, которою русское дворянство обладало по законам, желало ее еще усилить в законодательном же порядке, желало каждому дворянину

предоставить право самостоятельно, не прибегая к действующему суду, лишь „при собрании мирских людей", наказывать крестьян „сажанием в колодки, палками и плетьми, по состоянию каждого вины" [1]. Нельзя думать, что в этом случае проявилась со стороны дворян боязнь суда. Нет, суд был в дворянских руках; но просто первому сословию в государстве хотелось, чтобы каждый дворянин был как бы правительственным судьей над крестьянами. Что же касается существовавшего коронного суда, то там интересы дворян были вполне обеспечены. Было бы достаточно указать на то, что по такому вопросу, как разлучение крепостного крестьянина с детьми и ссылка его в Сибирь, суд не мог „даже спросить" помещика „о причине ссылки и исследовать дело": на это именно обстоятельство указывал Сиверс императрице в 1768 г.,—значит, как раз во время, когда обнаружились еще более сильные дворянские аппетиты на власть. За 5 лет раньше этого, в 1763 г. в сенате рассматривалось дело по обвинению дворянки Шулепниковой в подговоре своих крепостных к убийству ее мужа; по заключению архангелогородской губернской канцелярии, где предварительно рассматривалось это дело, Шулепникова действительно к убийству мужа своего „оказалась подозрительна, что и люди с пыток утвердили"; по закону Шулепникову, как дворянку, канцелярия не могла подвергнуть пытке и потому испрашивала „указа". Сенат нашел, что подозрение на Шулепникову в докладе не ясно, и постановил „увещевать" ее, а что касается показания крестьян, то оно в глазах сената не имело никакого значения: в их показании, „яко крепостных людей", „не имея к тому других явных доказательств, в силу законов, утвердиться не можно" [2], заявил сенат и тем лишний раз подчеркнул полное бесправие крепостных даже в высшем суде империи.

В законе крепостной крестьянин был поистине „мертв", как позднее выразился Радищев. А не имея над-

[1] Сборн. И. Р. И. О., т. 93, стр. 7.

[2] В. М. Грибовский. Материалы для истории высшего суда и надзора в первую половину царствов. Импер. Екатерины II. С.-Пет. 1901 г., стр 104 и 105.

лежащей гарантии в законе на личную неприкосновенность, не имея права собственности на движимое и недвижимое имущество, этот юридический мертвец оказывался в жизни в положении настоящего раба... В жизни господствовал произвол, и потому она по отношению к крепостному допускала, кажется, все виды насилия, вплоть до таких пыток и истязаний, перед которыми самая смерть страдальца теряет значительную долю внушаемого ею ужаса. История крестьянства сохранила нам целую галлерею в высшей степени мрачных, потрясающих картин. Мы не станем повторять здесь рассказов про всем известную, знаменитую „Салтычиху", обвинявшуюся своими людьми в убийстве, при жесточайших истязаниях, 75 человек и обвиненную судом (юстиц-коллегией) в убийстве 38 челов., при оставлении в подозрении относительно 26-ти. Такой моральный урод даже для того времени довольно редкое явление, на что указывает и исключительная слава Салтычихи. Тем не менее Салтычиха—такой плод, который мог столь роскошно развиться лишь на почве полного бесправия крепостной массы и властительского положения дворянства. Довольно вспомнить, что 21 раз начиналось крепостными дело о преступлениях Салтыковой и каждый раз прекращалось при помощи взяток и естественного стремления мирволить своему брату,—довольно это вспомнить, чтобы понять, почему мог получиться такой длинный синодик жертв, какой числится за Салтыковой. Даже, когда дело о ней было начато в 21-й раз, оно продолжалось еще 9 лет: сама императрица не спешила с ним, желая всесторонне исследовать истину, дабы не навлечь на себя нареканий со стороны дворянства. Именно таким отношением суда и верховной власти к подобным, неприятным для правящих, делам создавалась особая дворянско-властительская психология: господа привыкали думать и чувствовать, что им очень многое можно себе позволить по отношению к крепостному люду; у них рождалась уверенность в полной безнаказанности за их преступления против крепостных. „Сколько вам ни доносить,—со злорадством говорила Салтыкова своим крестьянам,—мне они все ничего не сделают и меня на вас не променяют". И, разумеется, ка-

ждый раз, после неудачного доноса, эта госпожа все более и более окрылялась и свирепела на своих осмелившихся пожаловаться на нее „рабов". „Салтычиху" народ прозвал „людоедкой", и она была людоедкой весьма крупного калибра. Салтычиха на одну себя взяла у народа слишком много жертв, чтобы остаться без имени в истории крепостного застенка. Другие—и этих было большинство—„регулировали" свои крепостные отношения не так громко, как Салтычиха и ей подобные, но и они, хотя и не приобрели громкой славы, все-таки жестоко секли, истязали и замучивали на смерть... У В. И. Семевского в его замечательном сочинении о крестьянах в царствование Екатерины II собрано немало сведений о том, как широко пользовались помещики своею властью над крепостными [1], и эти многочисленные, рядовые кровавые факты представляют еще более потрясающее зрелище, чем преступления Салтычихи; ибо из-за этих фактов перед умственным взором читателя встает всероссийское благородное дворянство, в целом запятнавшее себя перед русским народом и судом истории тем же самым, чем Салтычиха провинилась перед с в о и м и крепостными. В самом деле, пробегая сообщения частных лиц и официальных судебных бумаг, как нельзя более гармонирующих друг с другом, сообщения о нещадном сечении розгами, даже до 5.000 ударов, о битье батогами, езжалыми кнутами, о собственноручном барском битье с проломлением голов о печку, о сеченье розгами по обнаженным грудям, об истязании беременных женщин и малолетних, о всевозможных пытках и мучительствах, вплоть до раздирания пальцами рта до ушей,—о сеченье, битье, истязаниях из мести и просто ради пищеварения, в исступлении и в самом спокойном обычном расположении духа,—мы живо чувствуем весь трагизм того положения, в которое ставила крепостных безмерная власть помещиков, предоставленная им законом и подкрепленная всем сложившимся жизненным строем. В 1761 г. побывал в России аббат Шапп, от наблюдательности коего не укрылось, что, благодаря праву

[1] В. И. Семевский. Крестьяне в царств. императр. Екатерины II, т. I, изд. 2-ое, стр. 193—212.

наказывать крестьян батогами, которым обладали помещики, „они употребляют это наказание таким образом, что на деле получают возможность казнить крестьян смертью“ [1]. Таким образом, фактически власть помещиков над крестьянами была неограниченная, что в значительной мере вытекало из предоставленного помещикам права наказаний и влекло за собой целый ряд печальных последствий, неудобных даже для администрации. Не даром одно лицо из среды ее ходатайствовало перед императрицей об ограничении чрезмерной власти помещиков. „Пусть, — говорил Сиверс, — по крайней мере господин не будет иметь права без судебного разбирательства наказывать своих людей кнутом (что,—присовокупляет он,—почти равняется смертной казни)“ [2]. И действительно, истязания нередко оказывались лишь особой, страшной формой смертной казни, созданной крепостным правом и попускаемой государством. За время от начала царствования Екатерины II до пугачевщины В. И. Семевский из архивных документов и других источников приводит около 10 случаев, когда крепостные погибли от беспощадного сеченья и битья. Тут мы читаем о всяких ужасах: так, например, смоленский шляхтич Высоцкий собственноручно наказывал плетью крестьянина и его жену, при чем последнюю, кроме того, еще жег раскаленным железом, а сына этой пары бил батогами; крестьянка не выдержала и скоро умерла; так, далее, при помощи трех солдат, помещицей, вдовой тайного советника, Ефремовой была наказана батогами в Петербурге дворовая девушка, умершая на другой день, на трупе которой был найден в области спины антонов огонь „от пребезмерного битья“; так, почти накануне пугачевщины, в 1769 году, оренбургская помещица, вдова генерал-майора, фон-Эттингер забила своего крестьянина таловыми прутьями; генеральша уверяла, что смерть крестьянину приключилась от черного сока, выжатого из капусты, да от холодной воды, а доктора, осматривавшие труп, сообщили, что крестьянин погиб „от неумеренного сеченья“... и т. д., и т. д.

10246

---

[1] Семевский, стр. 202.
[2] Ibid., стр. 205.

История крепостного крестьянства сохранила нам портрет любителя пытки в обстановке настоящего старо-московского застенка. У крупного помещика Орловской губ., отставного поручика Шеншина, было особое здание, в котором находились все приспособления для пытки: здесь не только секли кнутом и били батогами, но и поднимали на дыбу, при чем вывихивались кости, лопались сухожилия; здесь палили ноги горящим веником, здесь был целый штат профессиональных палачей—до 30 челов., действовавших под руководством и при ближайшем участии самого поручика, утонченного развратника и мучителя женщин. Положение истязуемых было тем ужаснее, что допрос чинился по вымышленным преступлениям. Пыточный застенок поручик устроил в своем имении в 1767 году, а в 1769 году он приехал в Москву и остановился в доме матери, где пожелал продолжать свои пыточные занятия. Пациента для них найти было нетрудно: стоило только обвинить какого-нибудь дворового в краже. Сказано—сделано. Дыба устроена, и пытка началась: обвиняемого поручик несколько раз поднимал на дыбу, затем, завинтив ему руку в клещи, сек батогами, потом целый час бил палкой, сломав о спину несчастного две палки, наконец начал хлестать арапником и езжалыми кнутами; естественно, что после всех этих операций больной умер, хотя ему была подана и медицинская помощь, падкая тогда тоже до кровопускания: умирающему была пущена кровь из руки и ног [1].

Насколько крепостной был во власти помещика, указывают не эти только и другие подобные кровавые расправы, но и действовавшие тогда законы, не знающие наказания помещикам за эти расправы со смертным исходом. „Уложение“ запрещало помещику убивать или даже изувечивать беглого холопа, но обходило гробовым молчанием невольно рождающийся вопрос о наказаниях за таковые преступления. Поэтому сенат мог поступать по усмотрению: ссылая иногда виновных на поселение или в монастырское заключение, с отобранием у них деревень, он чаще огра-

---

[1] Семевский, цит. сочин, стр. 208—210; см. также стр. 206. В. М. Грибовский. Материалы, стр. 155.

ничивался духовной карой—церковным покаянием, без всяких юридических последствий или только с отобранием чинов; в таких случаях всегда на помощь правосудию являлись смягчающие вину обстоятельства: большею частью выходило так, что виновные в смерти крепостных господа не имели умысла, а потому и умышленным смертоубийством „сенат считать не может", или что убийца—помещик—и не мог иметь умысла, ибо был „в пьянстве", „от чего он приходит в меланхолию и беспамятство" [1].

Крайняя снисходительность суда к уголовным преступлениям дворян против крепостных усматривается из дела помещицы Северцовой, относящегося к 1768 году. Эта помещица предоставила своему любовнику, одному дворянину, по профессии копиисту, десятилетнюю девочку для растления. Оно было совершено, но сенат не нашел его полным и потому постановил отдать пострадавшую помещице, а виновных подвергнуть месячному тюремному заключению [2]. Этот приговор походил почти на потворство дворянам в их полной половой разнузданности по отношению к крепостным. Итак, мы видим, что случаи, подобные рассказанным,—случаи смертоубийства, растления,—доходили и до суда и что суд относился к ним довольно легко; но много ли было хотя бы этих нестрогих приговоров над дворянами? Вернее всего, что немного... В те времена, при повальной продажности администрации, дворянину гораздо легче было уклониться от суда, чем попасть под суд, и потому мы в праве думать, что большинство дворянских тяжких уголовных преступлений, не исключая и смертоубийств, осталось неизвестным; мы знаем лишь о тех из них, о которых нам поведал тогдашний суд, да еще мемуарист.

---

[1] В. М. Грибовский. Материалы, 156 и 157, 124; В. И. Семевский, цит. соч., 213 и 214; Романович-Славатинский. Дворянство в России, 318—320. Из всех убийц-дворян одна лишь Салтычиха, присужденная юстиц-коллегией к смертной казни, была приговорена сенатом к ссылке в Нерчинск в каторжные работы, но императрица этот приговор заменила пожизненным заключением в монастырскую тюрьму, с предварительным, по лишении дворянского звания, выставлением „мучительницы и душегубицы" в Москве на эшафоте.

[2] В. М. Грибовский. Высший суд и надзор в России в перв. полов. царств. импер. Екат. II, стр. 277 и 278.

Что сказать, после отмеченного, о таких наказаниях и истязаниях дворянами крепостных, как, например, обычные сеченье и битье, проходившие без смертного исхода, но нередко тоже отличавшиеся необыкновенною, часто хладнокровно рассчитанною жестокостью? Очень хорошо известно, что такого рода истязаниями была наполнена помещичья жизнь, что они были повседневным явлением. Образованные помещики, в роде Болотова и поэта Державина, ничего не находили ненормального ни в сеченье крепостных, ни в щедро расточаемых им господских пощечинах, ни в других подобных же знаках дворянского внимания к „рабам". Болотов, автор любопытнейших воспоминаний, весьма важных преимущественно для истории русского провинциального общества, человек, не чуждый современной ему литературы, считал себя очень гуманным помещиком, ибо он „не любил драться слишком много", а когда дрался, то очень заботился о том, чтобы—кой грех!—наказуемый не умер. Озабоченный этим Болотов придумал даже свою методу сеченья—не сразу отпускать все предположенные удары, а известными порциями, с интервалами в несколько дней, во время которых осужденный на сеченье отдыхает на цепи; сеченье повторяется „понемногу несколько раз", „дабы оно—поясняет творец этой экзекуционной идиллии,—было ему тем чувствительнее, а для меня менее опасно" [1]. В своем сочинении: „Путеводитель к истинному человеческому счастию или опыт нравоучительных и отчасти философических рассуждений о благополучии человеческой жизни" Болотов подводит даже теологическое основание для необходимости наказывать „непокорных рабов": подобно тому, как „бог наказывает нас для нашего исправления", так и дворяне „облагают рабов кандалами, морят голодом" и т. под. „для блага самих рабов" [2].

Вот какие представления создавало крепостное право в головах помещиков, даже выделявшихся из среднего уровня провинциального дворянства: дворяне для крестьян—само пекущееся о них провидение, приносящее им и на-

[1] Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные им самим для своих потомков, С.-Пет. 1873 г., т. IV, стр. 1035.

[2] В. И. Семевский, цит. соч., стр. 200, прим. 1.

казаниями благо. Некуда было итти дальше в оправдании помещичьего произвола, и в этой идеологии его собственно и заключается разгадка того, почему с такой голубиной наивностью, какую обнаружил Болотов, рассказывая о своем методе сеченья,—с легким сердцем и без малейших угрызений совести нежестокосердые, уравновешенные люди совершали по отношению к крепостным выдающиеся жестокости... К этому вел самый крепостной порядок, при котором людьми торговали как скотиной, продавая их оптом и в розницу отдельно от земли, разлучая мужей и жен, родителей и детей,—тот порядок, при котором и соединяли отдельные пары, как скотину, для приплода, превращая „таинство" брака в недурное подспорье своему хозяйству, тот, наконец, порядок, при котором возводилось чуть ли не в догму всячески ежедневно оскорблять „рабов" и попирать в них элементарнейшие человеческие чувства. В обществе, жившем на крепостном труде, вся социальная атмосфера была насыщена опаснейшими микробами произвола, от болезнетворного действия коих не мог уйти никто из власть имеющих... Само же действие, качественно одинаковое, оказывалось различным по силе, сообразно со степенью умственного развития, сообразно с полом, темпераментом, преобладающими склонностями и привычками. Если люди, отведавшие книги, спокойные, добродушные и скромные в своих нравах, ограничивались методом Болотова, то люди скотининского и ноздревского типа, черствые, пьяные и развратные доходили до тех крайностей мучительства, необузданнее которых иной раз не придумал бы и сам Иван Васильевич Грозный. Очень возможно, что в иных случаях эти крайние проявления как бы любительских истязаний, мучительства для мучительства, имели своим ближайшим источником психическое расстройство мучителей. Да едва ли мы не будем правы, если скажем, что нездоровая атмосфера крепостного произвола действовала на наиболее неуравновешенных, с алкогольною наследственностью, субъектов, при соответствующих условиях их личной жизни, настолько разрушительно, что они становились прямо-таки душевнобольными, по крайней мере, безцельные, непонятные здоровому уму, аморальные поступки некоторых поме-

щиков, их наслаждение пыткой, стонами и мучениями истязуемых, мне кажется, должны быть об'ясняемы этим психопатологическим состоянием мучителей. Что крепостная атмосфера оказывала наиболее вредное действие на малоустойчивые, нервные организации,—косвенно доказывает и одно современное описываемой эпохе наблюдение,—именно, что особенною жестокостью по отношению к крепостным отличались женщины; самое об'яснение этого явления отсутствием у женщин даже того умственного развития, каким обладали мужчины, есть не что иное, как указание на то, что в психике дворянки-помещицы XVIII ст. было меньше противодействия соблазнам произвола, чем в психике непрекрасной половины „благородного" сословия. Стало быть, все дело в большей восприимчивости слабого пола к заражению самодурством; но и среди мужчин, несомненно, попадались аналогичные восприимчивые натуры, со страстным темпераментом, с расшатанной волей и без всякого умственного багажа, с детства привыкшие считать дворовых хуже собак своих, с ранней юности погрязшие в пьянстве и сладострастных наслаждениях крепостного гарема: вот такие-то суб'екты и были падки на мучительство крепостных и на нередко встречавшееся соединение этого мучительства с самым отвратительным бесстыдством и развратом; такие суб'екты довольно скоро становились привычными истязателями, для которых мучительство делалось необходимою острою приправою к разным отправлениям их животной жизни, как морфий для морфиниста, алкоголь для алкоголика, так и мучительство для типического мучителя; а что это, как не болезнь? Разве не страдающими нравственным помешательством были такие моральные монстры, как Салтычиха, или ярый любитель застенка, поручик Шеншин? Современная психиатрия знает такие формы душевного расстройства, которые и теперь не препятствуют больным оставаться членами общества (моральное помешательство, паранойя); в XVIII же столетии там, где теперь мы можем заподозрить болезнь, ничего не видели, кроме требовательного и грозного господина, не дающего потачки своим „рабам", и лишь в особо возмутительных случаях соглашались видеть „злонравие" и

неисправимую склонность к „душегубству". Если это так, то, значит, крепостное право вносило элементы вырождения в само дворянство: в крепостной деревне вырабатывался помещичий „преступный тип" или „злодей", по крестьянской терминологии тех времен. И на что только не был способен этот тип, порожденный и вскормленный самовластием?!

В крепостной атмосфере особенно тяжело было жить дворовым, из коих в XVIII ст. составился целый многочисленный класс людей, оторванных от земли, удовлетворявших не только потребностям, но и всем малейшим и часто психопатическим барским прихотям и капризам, людей, находившихся ежеминутно под ближайшим действием барского произвола, постоянно стоявших перед барскими очами и руками. Тяжела была, как видно из вышеприведенных примеров, барская, то и дело вспыхивающая, немилость, но не легка была и барская милость, в высшей степени обязывающая и ревнивая, а потому очень часто ведшая лишь к вящшим истязаниям; наиболее же чувствительна была барская милость, разумеется, женской половине дворни: сколько было тут погублено девичьих жизней, сколько совершено насилий, растлений и даже кровесмешений [1], сколько тут было горя, терзаний, ужаса и сколько скоплялось негодования, презрения и ненависти!..

Подавляющую наблюдателя картину представляло положение и остальной крепостной массы. Произвол, самый необузданный произвол помещика был главным героем в жизни крепостных, сидевших на земле, кормивших и поивших господина, доставлявших ему средства для барского раздолья с его крепостными гаремами, театрами, псовыми и иными охотами, для содержания громадной дворни, гувернеров, приживальщиков, для дорогой службы в гвардии, для прохождения тоже недешевых „курсов" во время заграничных „вояжей", главным образом на бульварах, в салонах и вертепах Парижа...

Говоря вообще, земельной нужды крестьяне рассматриваемой поры не имели. Хотя бывало, что помещики отни-

[1] Путешествие Радищева, лондонск. изд. 1858 г., 276.

мали землю у крестьян, но в общем крестьянское безземелье было исключением в Великороссии тех времен. Земли было достаточно не только в тех вотчинах, где крестьяне сидели на оброке, в полосе малоплодородной, но и в хлебородных местностях, где господствовала барщина. Беда, следовательно, была не в этом, не поземельный вопрос был самым острым вопросом в положении крестьян, а правовой: полное социальное бесправие — вот источник жалкого состояния крепостной деревни. Высокий непосильный оброк в одних вотчинах и еще более непосильная барщина в других брали от крестьянского труда львиную долю, так что крестьянину в утешение оставалось лишь полуголодное, а то и совсем голодное существование, да сознание исполненной перед царем и господином обязанности. Что касается крестьян, сидевших на барщине, то их положение было наиболее печальное. Помещики брали с крестьян столько труда, сколько хотели, обыкновенно более половины, а нередко и весь труд, труд всей недели, не оставляя крестьянину возможности, например, в жаркое спешное время работать на себя даже в праздничные и воскресные дни. И вот таким путем крестьянин, придавленный помещичьей властью, обремененный барщиной и другими многочисленными повинностями, и при достаточном количестве земли, оказывался в положении, фактически мало чем отличающемся от того, которое создавалось недавним малоземельем. Для характеристики безвыходности, в какую ставил крестьян легализированный произвол помещиков, процитируем, например, следующее крестьянское судебное дело. Староста села Неверовки и все крестьяне этого села подали жалобу на помещика своего, юнкера Петра Зорина, в том, что: 1) он продает недвижимое имущество и крестьян, 2) взыскивает с них, крестьян, деньги, „к крайнему их разорению“, в уплату своих долгов по векселям, 3) отягощает работами не токмо в простые, но и в воскресные дни, 4) собирает с них несносные поборы и пр. Как же отнесся к этой жалобе сенат? Сославшись на указ 3-го июля того же 1762 года, когда рассматривалось это дело, на указ, строжайше запрещающий крестьянам „оставаться“ в своеволии и „непослушании“,

а также на Уложение царя Алексея, запрещающее верить крестьянским доносам на помещиков, — сенат постановил: „челобитчику Тарасу Иванову в доносах на помещика своего не верить, а отослать в московскую губернскую канцелярию при указе, которым велеть, в страх другим, учинить по воле помещика наказание и отдать ему с распискою попрежнему во владение“ [1].

Правительство не верило „Неверовкам“, от чего, разумеется, положение их не улучшалось. В комиссии Нового Уложения указывалось, что иной „помещик денно и нощно мужиков работою понуждает, чтобы прокормить“ заведенную им „псовую охоту, а того не думает, что чрез сие отягощение в крестьянских домах дети с голоду зле помирают“.

Так последствием рабства, по преимуществу социального, была та же самая бедность, какою она оставалась столь долго, как последствие рабства преимущественно экономического. „Бедность и рабство, — говорит современник, — повсюду встречались со мною в образе крестьян. Непаханные поля, худой урожай хлеба... Маленькие, крытые соломой, хижины из тонкого заборника, дворы, огороженные плетнями, небольшие одонья хлеба, весьма малое число лошадей и рогатого скота подтверждали, сколько велики недостатки тех бедных тварей, которые богатство и величество целого государства составлять должны“.

Но, кроме социально-политических причин, в крестьянской бедности были повинны причины экономические. Уже и тогда крестьянство страдало от чисто экономических условий жизни. При продолжающемся господстве натурального хозяйства, денежное хозяйство в XVIII ст. все-таки сделало в России значительные успехи. Промышленность и торговля после мощного толчка, данного этим формам народного труда петровской эпохой, продолжали развиваться, хотя, как и при Петре В., довольно искусственно и непрочно, жизнь усложнялась, принося не мало всякого рода приманок, оплачиваемых деньгами, и помещик становился все более и более жадным до последних, стремясь всякими способами возможно большую сумму их выжать

[1] Грибовский. Материалы, 234 и 235.

из крестьянского труда; интенсификация крупного помещичьего хозяйства в черноземных губерниях повела к тому, что крепостные в этих имениях попали в положение, аналогичное с положением негров на американских плантациях. Таким образом, вообще говоря, развитие денежного хозяйства (преимущественно на почве торгового капитализма) [1] вело к крайнему ухудшению положения крепостного крестьянина прежде всего вследствие соединявшегося с указанным явлением увеличения помещичьих потребностей. В тех, все более и более учащавшихся случаях, когда барщина заменялась оброком, от крестьянина прямо требовались помещиком деньги, все равно, как они требовались от него государственной казной в качестве подушных... Вследствие совершавшейся смены натурального хозяйства денежным крестьянин становился все в большую и большую зависимость от рынка; и рынок требовал от него пожертвований, как при продаже сельских продуктов, так и при покупке того немногого, что было необходимо для удовлетворения его собственных неприхотливых потребностей. Государство, помещик и рынок требовали с крестьянина денег, а он их не имел, достать их крестьянину было трудно, и вот тут-то, как выражается кн. Щербатов, „нужных крестьян“ [2], т.-е. нуждавшихся в деньгах, подстерегал на рынке скупщик главнейшего крестьянского продукта — хлеба и брал его у таковых за бесценок. Это все — экономические причины крестьянской нужды, бедности, служившие тогда тяжелым привеском к бедственному положению крепостного крестьянства, вытекавшему из его „рабства“.

Насколько это положение было невыносимо, показывает то обстоятельство, что Екатерина II незадолго до пугачевщины получила и в Петербурге, и во время своего первого императорского турнэ по России, сотни крестьянских

---

[1] Влияние на все тогдашние социальные отношения торгового капитализма прекрасно выяснено в „Русской Истории“ М. Н. Покровского.

[2] Состояние России в разсужд. денег и хлеба в нач. 1788 г. Сочин. кн. Щербатова, I, 641; см. также мое соч.: „Правительство и общество в их отношениях к внешней торговле России“, 241, 245 стр.

жалоб на помещичий гнет, несмотря на указ 1762 г., строго запрещавший просителям вручать челобитье самой императрице. Через князя Вяземского Екатерина II, заявив сенату, что подобных жалоб и раньше подавалось немалое число, выразила опасение, „чтоб оказующееся от крестьян на владельцев своих неудовольствие не размножилось и не произвело бы вредных следствий". Сенату было повелено „придумать благопристойные средства". Сенат, повидимому, недолго думал: для него было ясно, как надо поступать в этом случае. Сенат резко подтвердил запрещение крестьянам жаловаться на господ. 22-го августа 1767 г. был издан указ, угрожающий каторжною работою крестьянам за жалобы их на помещиков [1]. Так сановные представители правящего класса, заседавшие в высшем государственном учреждении, дали понять императрице, что помещичья воля — закон для народа. И императрица, связавшая свою царскую волю с волей российского дворянства, ничего не предприняла в пользу задавленного дворянским произволом села, дабы предотвратить развитие крестьянского „неудовольствия" на владельцев.

„Неудовольствие" же это было велико и разливалось все более и более широкой волной. Этому сильно помогала и юная тогда русская фабрично-заводская промышленность. Возникшая по инициативе правительства, преследовавшего при этом, прежде всего, государственные цели, она искусственно развивалась под ближайшей опекой и контролем государства свойственными ему принудительными способами. В основу этой промышленности был положен все тот же несвободный труд народа, на котором зиждился весь социально-политический строй. Кроме господских крепостных, коих иные помещики определяли и на фабричное и завод-

[1] П. С. З. XVIII, № 12.966: „А буде по обнародовании сего указа... которые люди и крестьяне в должном у помещиков своих послушании не останутся, и в противность 2-й Уложенной главы 13 пункта недозволенные на помещиков своих челобитные, а наипаче Ее Имп. В-ву в собственные руки подавать отважатся: то как челобитчики, так и сочинители сих челобитных наказаны будут кнутом и прямо сошлются в вечную работу в Нерчинск, с зачетом их помещикам в рекруты". Этот указ ссылается на указ 19 января 1765 г., XVII, № 12.316, который, в свою очередь, ссылается на указ 12-го июля 1762 г.

ское дело, к фабрикам и заводам, начиная с эпохи Петра Великого, было позволено не одним дворянам, но и купцам приобретать крестьян лишь с тем, чтобы последние навсегда оставались при тех промышленных учреждениях, к которым куплены, и отдельно от них не продавались; это те фабрично-заводские крестьяне, которые позднее получили название посессионных и которые вместе с „вечноотданными по указам" к фабрикам и заводам крестьянами являлись, так сказать, постоянным контингентом фабрично-заводских рабочих. Рабочих этого рода на фабриках и заводах было гораздо больше, чем „господских крепостных", которые по ведомости 1769 г. составляли лишь 12,5% всех фабрично-заводских рабочих [1]. Хотя указом Петра III 1762 г., подтвержденным и Екатериной II, было запрещено купцам покупать деревни для перевода крестьян на заводы, тем не менее переселение раньше купленных крестьян продолжалось, да и вновь для некоторых заводчиков делались исключения. Таким образом, количество фабрично-заводских рабочих и после сейчас отмеченного запретительного закона продолжало возрастать даже на купеческих заводах: напр., купец Твердышев, имевший большое заводское дело в Приуралье, переселил на свои заводы из разных мест до 15.000 крестьян. Положение фабрично-заводских рабочих было так же бесправно, как и положение помещичьих крестьян: фабриканты, заводчики и их управители могли делать с рабочими все, что хотели. Сам закон открывал тогдашним капиталистам и их приказчикам широкую дорогу к произволу, и они шли по этой дороге нередко дальше, чем дозволял закон; но, при круговой поруке правящих, большею частью все было шито-крыто и оставалось от власти безнаказанным... Нечего и говорить, что фабричный или заводский крестьянин, как рабочая сила, эксплоатировался предпринимателем без всякой меры, ибо таковая и не указывалась в законе; закон также совершенно умалчивал о женском и детском труде, принося тем самым и жену и детей рабочего, даже малолетних, в жертву крепостной фабрике и заводу, оплачивавшим труд своих рабо-

[1] Семевский, цит. соч., 77.

чих мизерною платою... Фабрично-заводских рабочих или—скажем позднейшим термином—посессионных крестьян следует отличать от государственных крестьян, приписанных к заводам. Крестьяне приписывались к заводам, разумеется, для работы, но они не жили постоянно на заводах, являясь туда лишь в определенное время для того, чтобы заработать там свой подушный оклад; таким образом, дав заводам обязанных к работе на них и потому дешевых рабочих правительство этим самым поставило их в полную юридическую и экономическую зависимость от заводов, почему весьма скоро положение „приписных" сделалось невыносимым, безвыходным... Дело в том, что деревни крестьян, приписанных к заводам, находились обыкновенно в большом расстоянии от них, верстах в 500—700 и более, так что у крестьян не оставалось ни малейшей возможности, при продолжительных путешествиях на заводы и обратно—домой, не запустить своего собственного земледельческого хозяйства; работа же на самых заводах была поставлена в столь невыгодные для крестьян условия, труд приписанных крестьян эксплоатировался здесь столь хищнически, что этой работой отнюдь нельзя было покрыть получавшиеся из'яны в их собственном хозяйстве: заводский заработок не был подспорьем; он весь оставался на заводе, и в результате—полное экономическое оскудение приписанных крестьян, их обнищание.

В комиссию Нового Уложения этими крестьянами были представлены горькие жалобы на их тяжелое, непосильное положение. Так, погостные крестьяне 7 селений Казанского уезда, селений, „приписанных к Вознесенскому медноплавильному заводу", жаловались на то, что от этого завода (в Оренбургской губ.) до их жительства—„верст 700 и более", что на проходе туда и обратно они должны провести „2 месяца и больше", кои не оплачиваются, что—далее—все инструменты и другие предметы, необходимые для работ,—топоры, лопатки, тормозы „для с'езда с гор", колеса и пр.—выдаются из конторы в счет самих работников и за дорогую цену, что провиант и фураж они обязаны были тоже получать из заводской конторы,—разумеется за деньги, и немалые... Далее в жалобе указывается, что

заводский хлеб, получаемый крестьянами из конторы по дорогой цене, они не в состоянии заработать: „и доныне,—говорят они,—в начетах немалое число бывает, и то с бедностью заработали". Что же касается „струментов" и „прочих надобностей", то деньги, требуемые за них конторой, „заработать не можно". Понятно после того заявление жалобщиков: „мы, нижайшие, пришли в крайнее убожество и разорение".

Совершенно аналогичны жалобы (в „наказах") и других приписанных к заводам крестьян: так, и в „наказе" от „прежде бывших ясашных крестьян" Казанского уезда (татар) мы читаем о том, что эти крестьяне (приписанные раньше к заводам гр. П. И. Шувалова и компанейщика его, коллежского асессора Козьмы Матвеевича, заводам, перешедшим потом к Евдокиму Ник. Демидову) „пришли во всеконечное разорение и нищету". „А если,—присовокупляется в наказе,—оных работ будет с нас не сбавлено, то мы и наипаче можем прийти совсем в несостояние к платежу государственных податей и можем последних домов своих лишиться" [1]. Крестьяне того же Казанского уезда, приписанные к Воткинскому и Ижевскому заводам, следующими определенными и яркими чертами обрисовали свое положение в „наказе" для большой екатерининской комиссии: им приходится теми заводскими работами зарабатывать за души всех годных и негодных, старых, увечных, малолетних, слепых и умерших, но не выключенных из подушного оклада; все это на основании круговой раскладки и поруки; высылают всех годных работников на заводы „в самую деловую пору" и, таким образом, не дают им покрывать своей крестьянской, земледельческой работы, а если и отпускают домой, то не надолго: все время уходит на „проход", „за чем исправить домашней своей работы никак бывает невозможно"; сеют хлеба немного, да и „во-время снять заводская работа не допускает". „А прочие, — заключает „наказ" этих бедняков, — совсем в посеве у себя хлеба не имеют, чрез что и домов своих лишились, а находятся только из одного пропитания при тех

[1] Сб. И. Р. И. О., т. 115, стр. 252—255.

заводах безотлучно"; вследствие этого, они не только не в состоянии платить подушные деньги, но даже „иной пропитать себя на тех заводах с великою нуждою может, отчего (таков общий результат приписки государственных крестьян к заводам) за тою наложенною тяжкою на них работою многие, половина большая, пришли в крайнее разорение и нищету" [1]. Подушная недоимка, конечно, запускалась. Ну, чтож? Она взыскивалась по обыкновению: „подушной конторы капитан правил ту недоимку и бил батогами немилостиво" [2].

Итак, мы видим, что если приписанные к заводам крестьяне не были de jure ни помещичьими, ни посессионными, то de facto они ничем не отличались от тех и других; как те и другие, так и они были „рабами", каковыми они справедливо и называли себя в своих „наказах" [3]. Такое их фактическое положение подтверждается и официальным, компетентным в этом вопросе, лицом. Уже во время Пугачевского мятежа, во всеподданнейшем рапорте от 21 мая 1774 г. из Оренбурга капитан-поручик Маврин просил императрицу обратить взор свой на заводских крестьян, а паче на „приписных", которые отданы совершенно в жертву заводчикам, „а оные хищники ни о чем другом не помышляют, как о своем прибытке, и алчно пожирают все крестьянское имущество" [4].

Таково в общих чертах было положение помещичьих, заводских и „приписных" крестьян. Ясно, что „неудовольствие", о котором говорила Екатерина, должно было быстро прогрессировать. Тяжелые финансовые повинности, рекрутство, религиозные преследования, главным образом раскольников, произвол администрации и помещиков, иногда державших разбойничьи притоны, отнимавших земли у соседних крестьян, словом—те народные беды, которые перечисленными разрядами населения разделялись с остальными податными классами, успешно развивали „неудовольствие" во всем простом народе; так, напр., государственные кре-

[1] Сб. И. Р. И. О., т. 115, стр. 263 и 264.
[2] Ibid., стр. 257.
[3] Ibid., стр. 263.
[4] Дубровин, цит. соч., I, 356.

стьяне не могли быть довольны и спокойны уже потому, что их независимость от владельцев висела на волоске: они видели или знали, что их братию очень легко превращают в барских рабов... Но само собой понятно, что главными очагами „неудовольствия", быстро, при известных нам условиях, переходившего в ненависть к боярам, господам, богачам, были крепостные—деревня и завод.

Бедственное положение крепостных дало толчок и к простонародному литературному творчеству; какой-то грамотей из крепостных составил целое большое стихотворение, напечатанное под заглавием „Плач холопов", в котором слышится и горе невыносимо тяжелой жизни крепостных, и ненависть их к „господам", виновникам „бедства" „холопьей" жизни.

О, горе нам, холопем, от господ и бедство!
А когда прогневишь их, так от'имут и отцовское наследство.
Что в свете человеку хуже сей напасти?
Что мы сами наживем—и в том нам нет власти.

По мнению автора „Плача", единственное средство избавиться от „злых господ", это—истребить их.

Ах! Когда б нам, братцы, учинилась воля,
Мы б себе не взяли ни земли, ни поля,
Пошли б мы, братцы, в солдатскую службу
И сделали б между собою дружбу,
Всякую неправду стали б выводить
И злых господ корень переводить.

Крепостные массы шли дальше: они мечтали о „выводе" из жизни всех господ.

Как же наиболее угнетенные разряды населения реагировали на то положение, которое создавалось для них крепостным правом и произволом? Так же, как и раньше: пассивным протестом и активным воздействием. Вообще говоря, пассивный протест выражался в бегстве из крепостной деревни туда, где, казалось, могло быть лучше, чем в ней; хотя надо сказать и то, что наиболее хрупкие натуры, преимущественно женщины, доведенные до отчаяния мучительством, совсем уходили из жизни, кончая самоубийством...

В вольные места попрежнему бежали люди сильные... Им другого выхода не было... Болотов, сам помещик, убе-

жденный в благодетельном влиянии на крестьян наказаний, сообщив в своих записках об одной вздорной помещице-мучительнице, вслед за тем отмечает причинную зависимость между невозможным положением крестьян у таких господ и крестьянскими побегами. „Не удивительно,—говорит он,—было, что они, будучи нередко сею женщиною недовольны до того, что животу своему были не рады, принуждены были от них уходить и в бегстве искать себе спасения и отрады“ [1]. Зная что таких помещиц и помещиков был легион, мы скажем: да, это было неудивительно, что крепостные попрежнему бежали на Дон, Волгу, Яик, в Башкирию, в Сибирь... Теперь, во 2-ой половине XVIII в., массами бежали не только на восток, но и на запад — в прибалтийские провинции и в Польшу. В последнюю бежало так много народу, что Екатерина II в 1762 году издала несколько манифестов, которыми беглецы приглашались назад в Россию на льготных условиях. Правительство даже соглашалось не возвращать добровольно вернувшихся из Польши беглецов помещикам: так сильно было впечатление, произведенное на правительство усиленными массовыми побегами в пределы „Речи Посполитой“. Но борьба с народной оппозицией для крепостного права путем манифестов была бесплодна и скорее всего вела к противоположному результату: число сторонников уйти в Польшу, дабы, отведав тамошнего житья, в случае надобности опять выйти в Россию на лучшие условия, несомненно увеличилось, и если одни возвращались, то другие в большем количестве убегали; да и возвратившиеся в сущности нередко являлись лишь для того, чтобы, подговорив других, склонных к побегу, уйти вместе с ними обратно в Польшу.

И внутри империи шаталось много бродячего люда. От безысходной нужды многие приходили на фабрики и заводы, были здесь принимаемы и тайно держимы, но, найдя тут еще худшее положение, чем дома, снова бежали куда-нибудь к раскольникам, на Иргиз или на Яик и скрывались здесь в качестве работников по разным пристани-

[1] Цит. Записки Болотова, т. II, стр. 350.

щам и уметам. Не одна деревня, но и город выделял из своего населения беглецов, ибо масса мелкого торгово-промышленного люда была сильно угнетена и налогами, все возраставшими, и казенными службами, становившимися все тяжелее. Изнемогший от всего этого городской обыватель, желая избыть непосильные денежные и натуральные государственные повинности, тоже пускался в бега. Так создавалась особая, бродяжная Русь, привлекая в свои, разбитые по всей обширной территории государства, ряды все новых и новых членов. „Число бродяг так увеличивается, — писал новгородский губернатор Сиверс, — что тюрьмы ими переполнены как вследствие тиранства господ, так и вследствие малого наказания за побег". Эта беглая Русь и давала из своей среды немалый % таких вольнолюбивых суб'ектов, которые составляли разбойничьи шайки, поражающие наблюдателя дерзкою смелостью своих действий. Будучи, для разбойников, хорошо вооружены, иногда даже пушками, часто нападая в значительном числе, эти шайки иной раз наносили „конфузии" посылавшимся против них командам, ограбляли не только помещичьи усадьбы и селения, но и города. От них, разумеется, доставалось и крестьянам, но главным образом от разбойников страдали дворяне и разного рода толстосумы. Вот почему, при известной доле народного негодования на разбойников, их отчаянная смелость пользовалась тайным сочувствием в народной среде, о чем свидетельствуют народные предания, легенды, песни. Недаром крепостные слуги бывали способны внушить господским детям удивление и даже восторг по адресу „недобрых молодцов". Любопытно в этом смысле, для характеристики общественной психологии, сообщаемое в „воспоминаниях" графини Блудовой неизгладимое впечатление, которое у нее на всю жизнь осталось после рассказов, слышанных ею в детстве от крепостных стариков о разбойниках: „Волжские недобрые молодцы — говорит графиня, — остались навсегда в моей памяти почти с героическим оттенком" [1].

[1] Руск. Арх., 1889, I, стр. 49.

С явным сочувствием предание относится к популярному в XVIII ст. разбойнику Ваньке Каину, автору, как говорят, многих поэтических песен.

Библиотека-Читальня
Пос. НКЗ СССР
им. Ухтомского
Московско-Курской ж. д.

Беглый крепостной, мошенник среди московских подонков общества, где, как он узнал, „было всего довольно: „наготы и босоты изнавешены, а голоду и холоду амбары стоят; пыль да копоть, притом нечего и лопать“,— потом волжский разбойник и, наконец, правительственный сыщик времен Елизаветы: таков исторический Ванька Каин; в народном предании он не выдерживает своей официальной роли... Однажды Ванька Каин шел по лесу, пробираясь с полицейской целью к бывшей своей шайке: „Шел Ванька, — рассказывает гр. Блудова, — и каждый куст, каждая травка и стройная сосна, и широкий папоротник, и кривой дубняк, и белая березка,—все как будто посылали ему привет, как будто говорили ему о прежней воле“; Ваньку охватила тоска „по прежнему раздолью, по прежнему разгулу, по прежним товарищам и по прежней власти“; он свистнул, и шайка собралась, а Ванька закричал ей: „Вот я ваш опять, ребята! Надоела мне городская их жизнь, надоело мне есть даровой хлеб, надоело мне жить честным по их человеком! Давайте, ребята, волю молодецкую, да удалые набеги наши, да веселый разгул“ [1]. Так заканчивает народное предание полицейскую карьеру Ваньки Каина, его попытку стать „честным“ человеком; таковы воспоминания гр. Блудовой о рассказах, которые она слышала о Ваньке Каине от старых крепостных слуг, современников Екатерины II и очевидцев пугачевщины. „Даровой хлеб“ сыщика и молодецкая воля разбойника знаменательно здесь противопоставлены друг другу, и слушатель ясно слышит, в какую сторону сочувственно фибрирует голос рассказчика, в сторону не дарового хлеба сыщика, а воли молодецкой и ее подвигов. Это и есть тот голос, который следует назвать голосом народа. У народа есть, так сказать, инстинктивное сознание, что такое злое явление, как разбойничество, произошло не от прихоти и испорченности, а есть одно из страшных последствий мрачного

[1] Русск. Архив, 1889, I, стр. 52 и 53.

и тяжелого существования народа; он дарит своим сочувствием тех из своей среды, кто хоть для себя решился поискать и поискал веселой и сильной (хотя и преступной) жизни.

Народ понимал и понимает, что разбойники были волчьи натуры [1], но понимал и то, что именно такие-то натуры и не уживались с теми порядками, коими поддерживался крепостной строй, и поневоле смотрели в лес... Не так взглянули на вопрос о разбойничестве, связанный неразрывно с вопросом о беглых, представители правящих и имущих классов, собравшиеся в 1767 г. в комиссию для составления проекта Нового Уложения. Они взглянули на это несомненное зло для тогдашнего общества не как на порождение другого, гораздо большего, социального зла—крепостного права со всеми его вышеуказанными особенностями, а как на результат своеволия и „беспричинной злости" крестьян, а также малой строгости законов. Дворяне в комиссии не один раз указывали, что крепостные бегут „без всякого отягощения" от помещиков, и требовали более строгих мер как к самим беглым, так и к их приемщикам и укрывателям, а в пресечение разбойничества рекомендовали правительству „чинить разбойникам розыски и пытки при воеводских канцеляриях" [2]. Между тем, созвание комиссии депутатов со всей России для составления новых законов не могло не возбудить мысль крестьянства, не могло не воспламенить ее надеждами на такие перемены, которые повели бы к улучшению его положения; естественно, наибольшее брожение должно было начаться среди крепостного крестьянства, не имевшего своих депутатов в комиссии Нового Уложения; это последнее обстоятельство, а также вообще социальное положение крепостных заставляло их особенно нервно прислушиваться ко всяким слухам о перемене законов — слухам, которые, как

---

[1] Русский Архив, 1889 г., I, стр. 53.

[2] См. мою статью: „Вопрос о беглых и разбойниках, поднятый в комиссии для составления проекта Нового Уложения (1767 г.)". Изв. Общ. Арх., Ист. и Этногр. при Каз. университете, 1890 г.

признавало правительство Екатерины II, разглашались „злонамеренными людьми“ [1].

Крепостные, несомненно, особенно остро чувствовали свое бесправие в тот момент, когда все остальные классы населения получили возможность высказаться в комиссии, заявить там о своих чаяниях и желаниях. Эта острота ощущения социальной несправедливости, разумеется, была не без последствий для поведения крепостных. Настроение крепостных было подавленное. Оно нашло себе довольно яркое выражение в „Плаче холопов“, с печалью заявляющем:

В свою ныне пользу законы переменяют.
Холопей в депутаты затем не выбирают:
Что могут-де холопы там говорить?
Отдали б им волю до смерти нас морить!

В направлении этой именно „воли“ шло в комиссии обсуждение крепостного вопроса.

В комиссии Нового Уложения дворянство оказалось на высоте своего положения и об'явило право на произвол своим прирожденным правом, своею сословною привилегиею. Странно ли после того, что с этим моментом совпадает особенное усиление „злости“ крепостных против помещиков? Частое обращение к самосуду над помещиками свидетельствует об этом боевом настроении среди крепостного крестьянства. Во второй половине 60-х годов вообще участились случаи убийства крепостными помещиков.

От 1764 до 1769 г. в одной Московской губернии было убито крестьянами 30 членов дворянского сословия—21 мужч. и 9 женщ.; сверх того, было еще в той же губернии 5 неудавшихся покушений на помещиков. Но, если иметь в виду тот же период времени, то надо признать, что особенно много случаев убийства помещиков падает на 1767 г., на год созвания знаменитой комиссии Нов. Уложения [2]. Дворяне, понятно, негодовали: „Сии злодеи,—сообщал в этой комиссии гр. Строганов,—подобно диким зверям, не только господина своего замучив умертвили, но и жену его, и нерожденного еще младенца из недр ее вырвали“ [3]. Однако,

[1] Семевский, цит. соч., стр. 433, примеч. 3-е.
[2] Ibid., стр. 413, 433 и 444.
[3] Дубровин, цит. соч., I, 448.

припомнив жестокости и мучительства помещиков над крепостными, тоже не щадивших никого, в том числе и беременных женщин, мы поймем, что все эти крестьянские жестокости, а равно и подвиги разбойников, в шайки коих, конечно, уходили и убийцы своих господ, есть ответ на узаконенный произвол правящего сословия и на крайние проявления всяческой необузданности отдельных его членов. Екатерина сама хорошо понимала эту зависимость между помещичьим „деспотизмом“ (переходившим от родителей к детям, по естественному подражанию с раннего возраста родительской жестокости к слугам) и крестьянскими преступлениями: „Ведь нет дома,—говорит Екатерина в своих мемуарах,—в котором не было бы железных ошейников, цепей и разных других инструментов для пытки при малейшей провинности тех, кого природа поместила в этот несчастный класс, которому нельзя разбить свои цепи без преступления“. Ответом на тот же помещичий „деспотизм“ были и так называемые крестьянские волнения. Эти волнения Екатерина II получила в наследство от предшествовавшего времени; так, по ее собственному сообщению, в первый же год ее царствования в состоянии возмутившихся было 150.000 монастырских и помещичьих крестьян и 49.000 заводских; но, хотя и с оговорками, подтвердив указ своего супруга Петра III об отобрании у монастырей крестьян и тем окончательно de facto уничтожив на них крепостное право,—каковое распоряжение и умиротворило монастырских крестьян [1],—Екатерина ничего не сделала для того, чтобы хотя сколько-нибудь умиротворить остальные разряды крестьянства, и волнения помещичьих и заводских крестьян продолжались даже в усиленной степени, особенно к концу 60-х годов [2]. Это были отдельные, разрозненные вспышки народного „неудовольствия“, народной не „беспричинной“ „злости“, вспышки, которые подавлялись жестокими репрессиями; в иных местах за неповиновение крестьян помещики сами выжигали целые деревни;

[1] См. об этом мою работу: „Петр III и Екатерина II“. С.-Петерб., 1914 г.

[2] Семевский, цит. соч., I, 432—441; II 355—358; 414—430. Дубровин, цит. соч., I, 352.

с неменьшею решительностью действовали и посылаемые для усмирения „ксмандиры", как против помещичьих, так и против заводских и „приписных" крестьян. Страсти все более и более разгорались. Перед самой пугачевщиной или даже во время ее (дело 1775 г.), пьяный помещик, истязая крестьян, упоенный не одним вином, но и вздутым дворянским высокомерием, кричал: „я тела вашего наемся и крови вашей напьюсь"[1].

Вот фигуральное обозначение вековой позиции, которую занимало дворянство по отношению к крестьянству. „Злость" и насилия всякого рода правящих оказались заразительными; они нашли себе подражание в угнетенных этими свойствами общественного порядка крестьянах, и „последние рабы" стали все чаще и чаще отвечать своим господам „злостью" и насилиями. Так из года в год тянулась борьба между сравнительно немногочисленным классом-угнетателей и громадною массой угнетенных [2]. Однако, в самое последнее время перед пугачевщиной волнения помещичьих крестьян прекратились: крепостные ждали, что все-таки сверху, от царской власти, придет к ним милость. Милость скоро явилась, но она оказалась, как и следовало ожидать, „самозванческой".

Екатерина хорошо понимала вредные последствия этой ежедневной борьбы и предостерегала дворян относительно возможности размножения „неудовольствия", указывая и на причину, почему люди обыкновенно доходят до крайности... Теоретически Екатерина II сознавала всю невыгоду „управства господ", но практически ничего не посмела осуществить, что ограничивало бы господское самоуправство, на необходимость чего даже указывали понимавшие „причину" общественных осложнений ее губернаторы (Сиверс). Эта императрица не считала себя в силах на что-либо более или менее радикальное в крепостном вопросе

[1] Семевский, цит. соч., стр. 208, примечан. Ссылка на дело 1775 г.—в Госуд. арх.

[2] Как отмечает Семевский, крепостных в Великороссии и Сибири, за исключением Петербургской губернии, было 3.786.771 д.—по третьей ревизии (1762—66 г.г.), а всех крестьян 7.153.860: значит, крепостных—52,9%.

вопреки воле первого сословия, подпиравшего трон победительницы: она — слишком „веровала боярам“, и народ нашел, что Екатерина не по истинному праву сидит на царстве, и начал по своему обыкновению подумывать об истинном, настоящем царе. Таким образом, после большой комиссии 1767 года, созванной самим правительством и показавшей народу полную безнадежность на лучшее будущее для крепостных, народная психика все более и более, путем усиленного упражнения в „злости“, стала проникаться чувством мести господам... Это психологическое состояние народных масс было чрезвычайно опасным: оно обыкновенно приводило к тяжелому обострению хронической народной оппозиции, к болезненному общественному кризису, всегда сильно потрясающему весь организм государства... И теперь, уже в тот момент, когда началась первая Турецкая война, всею своею тяжестью легшая опять-таки на тот же народ, угнетенная, бродяжная, волнующаяся и чинящая „всякие противности“, униженная и истязуемая в крепостной деревне и на крепостном заводе—крестьянская Русь таила в себе бездну начавших уже клокотать страшных, разрушительных сил... Фантазия этой Руси была возбуждена, чувства раздражены, воля подавлена жизнью и призраками, обступившими „последних рабов“ всюду: в дремучих лесах и в беспредельных степях, в убогой закоптелой мужицкой избе и на барском дворе, в руднике и на пашне, среди подневольного труда и в минуты молитвенного экстаза... При таком настроении этой Руси стоило только пустить среди нее идею—призрак о скрывающемся царе—народном благодетеле, который придет и даст народу все, о чем шептали ему вековые его грезы,—чтобы она, эта „черная“ Русь, фанатически страстно поднялась на своих притеснителей.

II.

Имя Петра III в народе и зарождение самозванческого замысла.

При упоминании имени Петра III, перед умственным взором нынешнего интеллигентного читателя встает довольно комическая фигура. Некоторые современники и особенно современницы этого императора дали в своих мемуарах пикантный материал для весьма нелестной характеристики его, как человека и государя, которая сделалась чуть ли не общим местом в суждениях о нем в наши дни.

Мы не станем, однако, на этой характеристике настаивать, потому что неизвестно, в какой мере можно доверять удивительным сообщениям о Петре III двух не симпатизировавших ему дам (оставленной им супруги и ее „сотрудницы", княгини Дашковой). Записки этих лиц еще не были подвергнуты строгому критическому исследованию, а между тем сообщаемые в них анекдоты и такие отзывы, что-де Петр своими поступками ставил себя в общественном мнении „ниже шута" [1], повторялись историками, как главные черты личности и деятельности Петра III. Пусть будет в этой характеристике значительная доля правды: однако, нельзя ограничиться только той стороной вопроса, которая так или иначе обрисовывается в пристрастных мемуарах. Есть еще другая сторона вопроса о Петре III, которая собственно и интересует нас в настоящий момент, это— отношение к таинственно погибшему императору простого народа в царствование Екатерины II. Дело в том, что

[1] Записки кн. Дашковой. „Русск. Стар.", 1906 г., март, стр. 629.

едва ли кто из русских государей XVIII в. был так популярен в простом народе, как этот „гольштинец", как этот, может быть, в качестве „личности", и действительно непутевый человек, склонный к озорству—типа господ Головлевых—озорников, гениально очерченных нашим незабвенным сатириком. Были, стало быть, особые причины симпатии народа к Петру III-му?

Да, были—и серьезные.

Первая из них та, что Петр III первый из русских государей прикоснулся к все сильнее и сильнее затягивавшемуся крепостному узлу и сделал попытку несколько его ослабить; указом этого государя, как уже отмечено выше, были освобождены монастырские крестьяне; его же указом было запрещено покупать крестьян к купеческим фабрикам и заводам. Хотя Екатерина II в общем и подтвердила эти указы, но они в сознании народа соединились не с ее именем, а с именем ее супруга: все-таки первый из этих указов вышел от Екатерины с такими изменениями, которые были не безразличны для фактически из'ятых из рук духовенства церковных крестьян, названных экономическими.

И вообще Екатерина не только не оправдала возбужденных отмеченными указами Петра III народных ожиданий, но, напротив, сразу дала понять, что на нее, как на заступницу за народ, надеяться отнюдь нельзя.

Вторая причина популярности Петра III в народных массах, мы полагаем, заключается в том, что он сделался очень угоден раскольникам. На первый, поверхностный взгляд, это тоже как будто странно: такой непочтенный, презирающий все русское, государь-иностранец, совсем ничего общего не имевший с „древним благочестием", и вдруг—популярность среди раскольников!..

А, между тем, эта кажущаяся странность просто об'ясняется тем облегчением, которое получили раскольники в мимолетное царствование Петра III-го и которое казалось еще значительнее от того, что последовало за крайненетерпимым отношением к расколу в предшествовавшее двадцатилетнее царствование Елизаветы Петровны, отличавшейся благочестием, но совсем не „древлим". Петр III,

поклонник Фридриха II, (может быть, по подражанию „вольнодумству“ своего идола) отнесся к раскольникам с терпимостью, к коей они не привыкли... И неизбалованному благожелательностью власти раскольничьему миру было достаточно этого отношения, чтобы поставить Петра III высоко в своих представлениях, как защитника старой, правой веры, „креста и бороды“. Раскольничий же мир был силен своим влиянием на всю серую народную массу. Это было тогда, можно сказать, единственное культурное влияние, встречавшее сочувствие во всякой, даже официально и числившейся в православии, ревизской, но, разумеется, не „мертвой“ душе...

Раскольничье влияние на народные массы было тем могущественнее, что не встречало никаких внутренних препятствий: были одни внешние, которые обыкновенно лишь увеличивают симпатии к гонимым учениям. В силу этого понятно, что, раз начал благоговеть перед именем Петра Феодоровича, как защитника „креста и бороды“, раскольничий мир, — перед тем же именем „за крест и бороду“ преклонился и весь „крещеный“ крестьянский мир...

Насильственное лишение Петра III царства непокорной женой и крамольниками-господами не могло не вызвать в народе большой симпатии к царю, пострадавшему от „бабы“, стакнувшейся с „боярами“. Смерть Петра была насильственна и окружена таинственностью. В правительственных сообщениях о смерти царя от какой-то внезапной геморроидальной колики было что-то недоговоренное; чувствовалось, что тут нечто скрывают. Такое впечатление от правительственных сообщений легко внушало склонной к чудесному массе сначала предположение, что тут дело не чисто, что государь, пожалуй, не умер, а только скрылся от бояр, хотевших его погубить... А раз возникло такое предположение, то в простых умах оно быстро переходит в уверенность... И действительно, слухи такого рода пошли в народе с самого начала царствования Екатерины II[1].

[1] В одной сербской рукописи под 1762 г. занесен этот же слух, что „государь Петр Фед. жив и находится в Сербии“. А. И. Яцимирский: Лже-Петр III у черногорцев. „Историч. Вестн.“ 1907 г., август, 515 и 516.

Уже в 1763 году в том крае, где десять лет спустя началась пугачевщина, разнеслась молва, что император Петр III жив и скрывается у яицких казаков. Эта молва произвела настолько сильное впечатление, что в одной деревне, вблизи Уфы, местное духовенство (поп с дьяконом) отслужило благодарственный молебен о чудесном спасении государя от смерти [1]. Летом 1764 года, совершенно в противоположной стороне от Оренбургского края, в Полтавщине, проходившая гусарская команда распространяла слух, что Петр III жив, а в 1765 г. сотник Полтавского полка Федор Славатинский донес в полковую канцелярию, что в деревнях, где была расположена его сотня, появился „некий бродяга, именовавший себя не принадлежащим ему именем"; в народе,—сообщал сотник в своем „покорном рапорте",—пошел такой слух, что „бывший государь, третий император Петр Федорович (о коем публиковано, что умер) в живых точно, не умер и ныне едет в Киев рассматривать Малую Россию с гусарскою командою, скрываясь в ней под видом вахмистра" [2]. Народное воображение воспламенилось: царь, приступивший уже к крестьянскому освобождению и, понятно, вызвавший ненависть к себе „бояр", скрывается от них, но он скоро явится и даст волю народу и другие милости. Все это действовало, можно сказать, гипнотически: сомнение замирало, а развернувшаяся фантазия народа стала настойчиво шептать ему сказку за сказкой, и он сам не заметил, как попал в полную власть этих чудных снов... „Государь,—говорили в народе, — „об'является" некоторым и ждет от своих подданных посажения его, батюшки, на прародительский престол". И, очарованный такими слухами, народ с нетерпением ждал, когда государь окончательно „об'явится" всему „миру", даст ему лучшую долю. Мы вполне поймем и оценим не ниже надлежащей меры народную доверчивость, если примем во внимание указание Пушкина на то обстоятельство,

[1] „Русская Старина", 1906 г., июнь, стр. 664. Отголоски Пугачевского бунта по архивным материалам.

[2] „Русская Старина", июнь, 1906 г., стр. 666.

что не только в простом народе, но даже в высшем сословии существовало мнение, что будто государь жив и находится в заключении и что сам великий князь Павел Петрович долго верил или желал верить этому слуху [1]. Следовательно, нет ни малейшего основания удивляться легковерию простого народа; он верил потому, что эта вера давала ему утешение в тяжелом настоящем и надежду на светлое будущее. Эта-то вера в избегшего смерти и даже заключения Петра III и начала выбрасывать из народной громады самозванца за самозванцем. Как было не появляться самозванцам, когда всюду толковали, что государь жив, когда бывали случаи, что сельское духовенство служило благодарственные молебны за избавление его провидением от смертельной опасности? И вот разного рода бродяги, беглые солдаты (Кремнев и Чернышев, армянин Асланбеков, беглый крестьянин Богомолов), наэлектризованные магическою, облетевшею с быстротою молнии всю Русь вестью, что Петр III жив и скрывается, начинают принимать его имя, подчиняясь как бы гипнозу чудесной легенды, сулящей им и остальной „черни“ лучшую долю, счастье... Один из этих бродяг, беглый солдат Чернышев, так и об'яснил на допросе причину принятия им царского имени: потому и принял, что „в разные времена, будучи в кабаках и шинках“, слыхал, что государь еще жив; следовательно, увлекся всеобщей верой в сообщаемое молвой и возмечтал, что поверят и ему, если он выступит под именем Петра III. Всякое такое выступление не могло не укреплять веры народа в то, что Петр Феодорович жив, и легенда с бо́льшею авторитетностью неслась по русской земле, трактуя уже не о скрывающемся, а о появившемся Петре III: он явился, и его видели, потом его схватили и хотели погубить, но он снова скрылся,—вот тот вывод, который делала народная мысль из задавленных в самом начале самозванческих выступлений. С другой стороны, всякое такое выступление встречалось населением весьма сочувственно, а это обстоятельство, в свою очередь, лишь

[1] „Русская Старина“ (1892 г.), т. 75: Русские достопримеч. люди, из собр. Полторацкого, 5.

могло поощрять к новому подобному же выступлению. Так, в 1772 г., беглый крестьянин графа Р. Л. Воронцова назвал себя Петром III, показывал своим сторонникам какие-то царские знаки на теле и, сильно взволновав умы волжских и донских казаков, был вскоре схвачен, и его песня сразу была спета; но легенда о скрывающемся и имеющем снова „проявиться" Петре III продолжала звучать всюду, где было горе большинства и незнание, как избыть это горе... О том, что к „проявившемуся" в Царицыне „государю", сочувственно отнеслись волжские и донские казаки, а также и солдаты царицынского гарнизона, вскоре узнал один из многочисленнейших представителей столь развившегося в XVIII стол. бродяжничества — безвестный беглый донской казак Емельян Иванов Пугачев.

Бродяжничество было тем бесконечным и опасным жизненным путем, на котором получалась наилучшая осведомленность о всех слухах, распространяемых в народе преимущественно теми же бродягами, путем, на котором изощрялись способности, возникали и крепли самые смелые замыслы. Эта обширная, не имевшая определенных границ, среда состояла из людей, наиболее энергичных, решительных, восприимчивых ко всякой отважной затее, из людей с постоянной готовностью вступить в какое угодно рискованное предприятие.

Тяжелыми условиями жизни издавна было продиктовано универсальное средство спасения—побег, готовность к которому в рассматриваемое время сделалась прямо изумительной. Высказанные сейчас замечания, как нельзя лучше, подтверждаются приключениями Пугачева до выступления его в роли Петра III-го. Неудачливый в службе, страдавший какими-то язвами на руках и груди и, кроме того, человек семейный и бедный, донской казак Зимовейской станицы Емельян Иванов Пугачев, после безуспешной попытки освободиться по болезни от службы, приехал к своему зятю в Таганрог. Оказалось, что и здесь, в Таганроге, не было ничего хорошего, ибо пошли разные строгости от начальства. Когда, — говорил зять, — „начнут обучать нас не по обыкновению казацкому, то мы, сколько нас ни есть, на-

мерены бежать туда, куда наши глаза глядеть будут. Многие уже бегут, да и я согласился с тремя казаками бежать". — „Куда же?" — спросил Пугачев. — „Коли в Русь побегу, то с женой, а если без жены, то хотя в Сечь Запорожскую", — был ответ. Пугачев забраковал эти места и предложил вместе с ним бежать на Терек. Зять тотчас же согласился.

Побывал Пугачев на Тереке, где домогался атаманства, но из этого, в конце концов, ничего не вышло, хотя за обещание Пугачева ходатайствовать за некоторые станицы в государственной военной коллегии они (станицы) тоже обещали выбрать его атаманом и дали ему на хлопоты 50 руб. Дело в том, что Пугачев был схвачен, как беглый, посажен на моздокскую гауптвахту и даже прикован к стулу. Пришлось снова бежать, и Пугачев бежал с тремя звенами цепи и замком, при чем увлек за собой и солдата, подбить котораго к побегу, повидимому, не стоило особого труда. Убежав потом из-под нового ареста и выдавая себя за раскольника, Пугачев вошел в сношения с раскольниками, ради получения пристанища, а затем побывал в Польше; отсюда вскоре опять вернулся в Россию, уже на основании льготного указа Екатерины II о беглых в Польшу, и получил паспорт для поселения на Иргизе вместе с таким же выходцем из Польши, беглым солдатом Логачевым. С этим эмигрантом Пугачев вошел в соглашение на счет Иргиза во время отбывания пограничного карантина, а так как „есть им обоим было нечего, то работали тут, в Добрянке, у жителя Косоротова баню". Пробираясь с польской границы в Симбирскую провинцию, именно в дворцовое село Малыковку, Пугачев с Логачевым остановились на Дону, в Глазуновской станице, и узнали о появившемся в Царицыне государе, о котором, кроме сведений о том, как он был принят населением, ходили уже рассказы в том смысле, что ему удалось бежать и скрыться „неизвестно куда". Из села Малыковки оба выходца ездили в Мечетную Слободу (Николаевск, Самарской губ.) собственно ради раскольничьего старца Филарета, к которому Пугачев был направлен одним из прежних своих держателей, раскольником Кожевниковым. Найдя старца в скиту Введения Бо-

городицы, передав ему поклон Кожевникова и выдав себя опять за раскольника, Пугачев вошел в доверие Филарета и узнал от него о недовольстве яицких казаков своим положением и о их помышлении „бежать к Золотой Мечети". „Нет, — сказал в беседе Пугачев, — лучше бежать туда, куда бежал Некрасов". У старца Пугачев простился с Логачевым, сказав, что будет жить у Филарета, но на самом деле задумав нечто совершенно иное. От старца Пугачев поехал на Яик с определенной целью подбить яицких казаков к побегу на Кубань. В глухом степном умете, выдавая себя за едущего из-за границы на Яик за покупкой рыбы купца, Пугачев приступил к разведкам о положении и настроении яицкого войска. „Каково живут яицкие казаки?" — спрашивал Пугачев старика-уметчика. „Худо, очень худо жить,—отвечал тот,—старшины их обижают, и они, убив атамана, бегают кое-где, их ловят, сажают в тюрьму; они было шарахнулись итти все в Астрабад, да не пустил их генерал". — „А не поедут ли они со мной на Кубань? Я бы их туда провел, где живут некрасовцы". — „Как не поехать? Поедут", — уверенно сказал уметчик. Говорил Пугачев и с некоторыми яицкими казаками и узнал от них о том же: жить нехорошо—казаки в смятении. „Я вас, — говорил Пугачев, — могу провести на Кубань, куда с Дона некрасовцы сошли, но будут ли на то ваши казаки согласны?" Ему ответили: „Как не согласиться, если вы возьметесь провести?".

Все эти и многие другие аналогичные факты, извлеченные из архивных бумаг покойным академиком Дубровиным, вызывают в наблюдателе определенное впечатление. В исторической дали отчетливо виден народ, находящийся в состоянии сильного брожения: простолюдин, стиснутый железными цепями жизни, готов каждую минуту порвать их, как порвал Пугачев цепи тюрьмы, и бежать куда-нибудь, хоть на Терек, на Кубань, в Польшу, в Астрабад. Мы видим всеобщее шатание стесненных и обездоленных жизнью. У фантазера Пугачева мелькает мысль о переселении с кем-нибудь из недовольных на Терек ради того, чтобы там сделать казацкую карьеру, которая не удалась ему дома на Дону. Мысль эта—естественное порождение жизни бродячей Рос-

сии: не все же бродить,—надо куда-нибудь итти и для более прочной оседлости... Слышит Пугачев, что Яицкому войску плохо живется, что многие из казаков бегают, а другие хотели было бежать, да неудачно, и опять не прочь сделать большую коллективную попытку,—и старая мысль о переселении на Кавказ для лучшей жизни, для атаманства, с которой Пугачев обращался когда-то к зятю, снова завладела им... И теперь старая мысль должна была казаться более осуществимой: представлялся случай склонить к побегу большую часть яицкого казачества. Но вместе с тем, бродя по России, Пугачев схватил и народные слухи о Петре III, скрывшемся из Петербурга, потом уже появлявшемся, принятом сочувственно народом, и снова неизвестно куда исчезнувшем... Эти слухи, как и чрезвычайно распространенная готовность к побегу, были признаком все того же народного брожения. Они глубоко запали в душу Пугачева, хотя, может быть, на первых порах не вызвали в ней никакого нового процесса: Пугачев попрежнему мечтал только о хорошей казацкой жизни на Кавказе, куда ушел в свое время Некрасов с товарищами. Но это было лишь на первых порах. Слухи, вывезенные им из России, оказались для психики Пугачева опасной заразой, начавшей действовать на нее все сильнее и сильнее, по мере того, как Пугачев все ближе и ближе знакомился с настроением яицкого казачества и с тем, что среди него поговаривали. Смелый замысел увлечь яицких казаков на Кубань близок был к тому, чтобы превратиться в еще больше смелый замысел привлечь их к скрывающемуся государю, ибо слишком было понятно, просто чувствовалось, что, при готовности недовольных жизнью итти куда глаза глядят, еще более было шансов, что они охотно пойдут к тому царю, которого вся „чернь“ ждет, как избавителя от неволи, как радетеля о народных интересах. Понятно было и не особенно сильным умам, что глаза задавленного „боярами“ крестьянства глядят преимущественно в сторону снова скрывшегося царя Петра Феодоровича... Это был момент, когда только фантазиями, разыгравшимися на почве неволи и нужды, и мог утешаться простой народ.

Выше мы видели, как рано (еще в 1763 г.) разнесся в Оренбургском крае слух о спасении Петра III и о нахождении его среди яицкого войска: значит, здесь была уже почва верить в такого рода молву, тем более, что она не переставала обновляться. И теперь слух о появившемся в Царицыне царе уже дошел до яицких казаков. Пугачев об этом узнал очень скоро от одного из них. „Здесь слышно, — сообщил Пугачеву казак Пьянов, — что проявился какой-то в Царицыне человек и назвал себя государем Петром Феодоровичем, да Бог знает, теперь о нем слуху нет, иные говорили, что скрылся, а иные, что его засекли". Услыхав и здесь то, что он раньше слышал, бродя по России, когда он убедился в народной вере в такую именно судьбу Петра Феодоровича, Пугачев сейчас же поддержал слух, как вполне соответствующий истине.

„Это правда,—сказал он,—что в Царицыне проявился государь, и он есть подлинный царь Петр Феодорович. Хотя его в Царицыне поймали, однако же он ушел, и вместо его замучили другого". Когда же о смерти Петра Феодоровича Пьянов напомнил Пугачеву, как о событии, известном и не подлежащем сомнению, то последний возразил: „Неправда. Он также спасся в Петербурге от смерти, как и в Царицыне". Сказав это, Пугачев круто переменил разговор и спросил о положении яицких казаков. Пьянов ответил, что положение их очень плохо, а Пугачев попрежнему предложил уход с ним, как наилучший способ переменить плохое положение на лучшее, но на этот раз Пугачев уже звал в какую-либо турецкую область, напр. Лабу. Пьянов поспешил сказать, что казаки рады будут итти с Пугачевым, но только он недоумевал, как это можно бежать без денег: „мы люди бедные..."—говорил он.

„На выход,—заявил Пугачев, — я вам дам на каждую семью по 12 руб.". Услыхав так определенно высказанное желание помочь яицким казакам уже не одним руководством, а и деньгами, скептик Пьянов усомнился в солидности своего собеседника. Пьянов знал настроение яицких казаков, их готовность бежать с Яика, и отсюда его категоричное заявление о радости, с какой будет принято на Яике предложение Пугачева: это было лишь особой формой сочувствия

эмиграционному проекту без обсуждения вопроса о самой личности вызывавшегося предводителя. Но вот необычный интересный собеседник-прожектер идет дальше, дает не только мысль побега, столь популярную на Яике с некоторых пор, но и обещает дать немало денег,—и взор удивленного Пьянова невольно от проекта Пугачева переносится, и переносится с сомнением, на самую личность неизвестного собеседника. „И что ты подлинно за человек?“ — спросил Пьянов. Пугачев, однако, не потерялся и за словом в карман не полез. „Я купец,—ответил он,— заграничный торговый человек. У меня на границе оставлено 200 тысяч рублей, да на 70 тысяч рублей товару, из которого я, если яицкое войско согласится со мной бежать, то и коштовать его буду. А по приходе на границу встретит нас всех с радостью турецкий паша; если придет нужда войску на проход, то паша даст еще хотя до 5 миллионов“. После такого категорического заявления, Пьянову ничего не оставалось, как сослаться в оправдание своего сомнения на то, что таких больших денег ни у кого не может быть, кроме „государя“. И эта ссылка не обескуражила собеседника.

„Я ведь не купец,—вдруг сказал Пугачев,—я государь Петр Феодорович; я-то и был в Царицыне, да бог меня и добрые люди сохранили, а вместо меня засекли караульного солдата“. Так Пугачев, наконец, поведал о том, что наиболее волновало его воображение.

Можно ли доказать, что мысль принять имя покойного императора родилась в Пугачеве лишь в момент самой беседы с Пьяновым, как, повидимому, склонен думать Дубровин, заметивший, что Пугачев принял имя Петра III „неожиданно для самого себя“? Не думаем. Конечно, чужая душа — потемки, тем более такая, о которой мы должны судить на основании мертвого розыскного дела, изложенного Дубровиным в цитированном его труде; но, несмотря на это, мы скорее склонны предполагать, что Пугачев беседу с Пьяновым сознательно вел к последнему признанию, именно для того, чтобы сделать опыт — посмотреть, какое впечатление произведет столь смелое открытие на собеседника. В Пугачеве было слишком много лукавства и хитрости, чтобы он перед Пьяновым разыграл роль Хлеста-

кова; напротив, видна значительная осторожность и последовательность в заявлениях этого авантюриста, человека с живой фантазией, но в то же время и со значительной сметкой. Такому об'яснению вполне соответствует и впечатление, произведенное сообщением на Пьянова, который обещался поговорить со стариками и о последующем „сказать" ему, „государю", а через несколько дней исполнил свое обещание: „О вашем величестве,—докладывал Пьянов Пугачеву на базаре в Яицком городке, — „что вы за нас, бедных, вступиться намерены и хотите провести на Кубань, я сказывал казакам Черепанову, Коновалову и Антонову. Они рады с вами итти, да только сказали, что это дело великое, так надо со всеми казаками об этом поговорить тогда, когда они соберутся вместе,—на багренье". Пугачев, выслушав сообщение, не велел Пьянову до поры до времени распространяться обо всем этом. Пугачев не мог не видеть, что принесенный им из скитаний на Яик замысел готов упасть здесь на чрезвычайно благодарную почву, но все-таки считал нужным соблюдать предосторожность, дабы этот замысел не постигла та же судьба, как и у его предшественников в других частях империи. Была бы не излишня даже большая предосторожность, ибо, как известно, Пугачеву не прошло безнаказанно это зондирование „почвы". Он был схвачен, попал в казанскую тюрьму и, если бы не его связи с раскольниками, помогшими ему убежать из тюрьмы, то, очень возможно, и этот претендент на русский престол так же быстро закончил бы свою карьеру, как Богомолов и другие. Убежав из тюрьмы, Пугачев снова появляется на Яике уже с окончательно созревшим замыслом попытать счастья на широкой, но опасной дороге самозванства. Это новое появление Пугачева здесь же, на Яике, как нельзя лучше доказывает нам, что он действовал с большим расчетом, что первое его появление здесь было сделано для разведок, было рекогносцировкою с определенною бунтовскою целью, правда, еще не уяснившеюся Пугачеву в подробностях, но, несомненно, с целью, которая уже связывалась с засевшею в голове мыслью принять, ради успеха предприятия, имя Петра III. Этого скрывающегося царя с нетерпением ждал весь простой народ, изнемогавший под

бременем крепостного права, барского и правительственного произвола. На Яике не было крепостного права, но здесь было свое горе, причина коего заключалась в новых порядках, введенных для яицкого казачества петербургским правительством. Чтобы вполне понять, почему яицкие казаки подняли знамя Петра III и восстали на его царствующую супругу, мы должны указать на эти порядки, а равно и на то положение Яика, в каком он оказался ко времени появления на нем Пугачева.

III.

Почему и как самозванческий замысел Пугачева был принят яицким казачеством.

Начиная с Петра Великого, яицкое казачество стало терять свою прежнюю волю. Московскому государству оно служило только по своему желанию. Российская империя сама привлекла яицкое казачество на службу ей, не спрашивая об его желании. На вольный и дикий Яик петербургское правительство набросило бюрократический аркан, подчинив казаков военной коллегии и определив те службы, которые они были обязаны исполнять по отношению к империи. И по мере того, как шел захват правительством и высшими слоями приуральских степей под заводы и учреждаемые для защиты их от инородцев крепости, все более и более затягивался этот аркан на непривычной к нему казацкой шее. Это затягивание было тем действительнее, что ему помогала казацкая администрация, державшаяся правительства и опиравшаяся на наиболее зажиточную, меньшую часть яицкого казачества. Это так называемая „старшинская сторона". При ее помощи военная коллегия, собственно, и оперировала на Яике, налагая на войско повинности, снисходя к злоупотреблениям атамана и старшин и вызывая ненависть к ним в остальной значительно большей части яицкого казачества, в так называемой „войсковой стороне". В результате получалась борьба между двумя указанными казацкими „сторонами"—борьба, становившаяся все острее с каждой новой попыткой правительства так или иначе приобщить казаков к ненавистному им „регулярству", с каждым новым покрывательством военной кол-

легией старшинских злоупотреблений. В начале 70-х годов эта борьба пришла к весьма печальному для когда-то вольного Яика концу. Ближайшей причиной такого конца борьбы послужил мятеж на Яике в 1771 г., вызванный действиями правительственных агентов и старшин по отношению к „войсковой стороне“ за отказ ее послать команду для преследования калмыков, в количестве 30.000 кибиток, покинувших Российскую империю. Для характеристики этих действий достаточно привести следующие факты. Явившийся из Оренбурга генерал Траубенберг, для производства следствия по отказу казаков итти на Кизляр в погоню за калмыками, начал свою деятельность с того, что семерых главных агитаторов этого отказа не только наказал плетьми, но, обрив им бороды, под конвоем отослал в Оренбург на регулярную службу. Казацкая партия в 300 человек отбила 6 пленников у конвоя, а с 7-м начальник конвоя был принужден, едва отстрелявшись, вернуться обратно в Яицкий городок. Этим новым сопротивлением распоряжению власти казаки ясно показали стойкость своего настроения, но тем не менее ни Траубенберг, ни поступавший согласно его приказаниям „старшина“ не обратили на это ни малейшего внимания и продолжали действовать в том же направлении, стремясь сломить казацкое упорство. Так, однажды между „старшинской“ и „войсковой“ сторонами произошла схватка. Та и другая сторона взяли пленных, при чем старшинская привела на аркане троих представителей „войсковой“ к генералу Траубенбергу, а этот последний велел их наказать плетьми и заключить под стражу, что и было немедленно исполнено. Подобная тактика все более и более обостряла отношения. Ненависть „войсковой“ стороны к „старшинской“ и к пришлой администрации усиливалась, и скоро нельзя было не чувствовать приближения взрыва. Припоминали прежние беды и связывали их и грядущее наступление новой беды с сочувствием казачеству со стороны самого божества. У одной казачки был образ, который, по ее рассказу, плакал перед прежними двумя бедами. В первый раз он плакал „перед тем случаем,—так говорила казачка,—когда генерал Черепов был на Яике, и команда его побила из ружей несколь-

ких человек казаков до смерти; другой раз—когда из войска требованы были казаки в легионную службу, и войско противилось дать, отчего многие были мучены побоями и тюрьмой". Чудный образ,—как поведала эта казачка,—плакал и теперь, когда чувствовалось приближение новой напасти. Наступление ее ускорило само же начальство. Когда один из руководителей уже вооружавшейся огромной толпы казаков, Шигаев, желая предотвратить кровавое столкновение, с согласия войска, отправился для последних переговоров с начальством, захватив с собой три образа, которые во главе толпы несли старики, то Траубенбергом был отдан приказ стрелять... Загремели выстрелы, переговоры не состоялись,—и многочисленная казацкая толпа, охваченная одним чувством мести, бросилась на команду и „старшинскую сторону", смяла их, отбив пушки и обратив их против отступавших солдат и казаков, верных начальству, а затем учинила жестокую же расправу со всеми своими лиходеями: генерал Траубенберг и два офицера были убиты, капитан Дурново, заслуживший на Яике репутацию старшинского радетеля и приятеля, был изранен и жестоко избит; при чем, как он сам впоследствии показывал, казаки его „ухватили за волосы и, таскавши на месте, потащили к войсковой канцелярии", где и посадили в холодную тюрьму; также были убиты атаман Тамбовцев, старшины Яков Колпаков, Федор Митрясов, Иван Тамбовцев, многие их сторонники тоже были убиты или переранены. Ничего нельзя было ожидать хорошего для Яика за такую расправу. Когда, после некоторых попыток как-нибудь уладить дело, выяснилось, что яицкому казачеству и самому не избежать расправы, когда узнали о приближении экзекуционного отряда Фреймана, и возникли слухи, что Фрейман сожжет городок, то казаки в кругу постановили бросить Яик и бежать в Хиву или Персию. Это предприятие не удалось, но и городок сожжен не был. Тем не менее наказание было радикально. Яик лишился вовсе самоуправления: казацкий круг и войсковая канцелярия были уничтожены, а „войско" было отдано под начальство коменданта, который должен был управлять им при помощи новой „комендантской" канцелярии. Навсегда также было запрещено бить в набат,

а созывать казацких старшин в комендантскую канцелярию было приказано барабанным боем. Словом, произошло нечто, подобное тому, что за несколько веков раньше произошло в Новгороде Великом при окончательном уничтожении его вольности. Теперь так же, как и там, в древней вечевой республике, при содействии правительственной местной партии, была сполна уничтожена „вольность“ казачества. Бюрократический аркан был окончательно затянут на его шее. Но, кроме полного правового разгрома, яицкое казачество потерпело и громадный физический урон, ибо значительное число казаков было взято под стражу и отведено в Оренбург для розыска. „Число арестованных казаков,—говорит Дубровин,—было так велико, что в оренбургских тюрьмах не было уже места, и их рассадили по лавкам гостиного и менового дворов; тюремные избы, гауптвахты были переполнены арестантами, подвергаемыми пыткам и допросам с пристрастием“ [1]. В Яицком городке осталось сравнительно немного народа, ибо большая часть тех, которые избежали ареста, бегали или скрывались по степным хуторам. Вот в этот-то момент жизни Яика и пошли здесь слухи о появлении в Царицыне „государя“, о признании его и о волнениях на Дону, где на Петра III надеялись, как на государя, который освободит донское казачество от надвигавшейся на него полной петербургской неволи. Пошел слух и другой на Дону о том, что, будучи схвачен, «государь“ не то засечен, не то опять скрылся. Вскоре, однако, пошел более определенный и радостный слух, что „государь“ скрывается, что его видели на Яике. Этот слух был результатом первого, известного нам, разведочного сообщения Пугачева казаку Пьянову; таким образом, когда Пугачев, после казанской тюрьмы, снова появился на Яике, то у него было не мало шансов, „то удрученная несчастиями, впавшая в отчаяние, „войсковая сторона“ ухватится за его новое имя—государя Петра. Фео-

[1] Цитир. соч., I, стр. 104; вообще, в этой и предшествующей главе мы руководствовались фактами, изложенными по архивным документам в неоднократно цитированном нами труде Дубровина, имеющем в большинстве случаев значение первоисточника.

доровича, как за последний якорь спасения. Так и вышло. Не входя во многие интересные подробности принятия яицкими казаками Пугачева, как „государя", укажем на некоторые из них. После того, как Пугачев открылся уметчику, пахотному солдату Оболяеву и некоторым казакам, приезжавшим смотреть „проявившегося" государя, и показывал им на своем теле „царские знаки", главари „войсковой стороны" устроили с ним свидание в степи. Тут были казаки Шигаев, Караваев, Чика и Мясников. Во время этого свидания казаки, видимо, желали выяснить вопрос о „подлинности" того человека, который называл себя государем Петром Феодоровичем и который теперь сидел на траве, угощаясь казацкими арбузами. „Царские знаки" в глазах казаков были одним из важнейших доказательств (если не самым важным) „подлинности", а потому казаки с нетерпением ждали, когда эти „знаки" будут им показаны. Пугачев, однако, не торопился и продолжал говорить о своем прошлом. Караваев решился остановить его и довольно настойчиво попросил „пред'явить" им, казакам, „царские знаки". „Раб ты мой, а повелеваешь мною",— сердито воскликнул Пугачев. Тем не менее знаки пришлось „пред'явить": сначала они были показаны на груди—знаки от старых ран, а потом на виске—пятно от бывшей золотухи. „Знаки" произвели надлежащее впечатление. По позднейшим словам Мясникова, „его такой страх обуял, что ноги и руки затряслись". Когда Пугачев показывал пятна на виске, советуя при этом казакам примечать, как царей узнавать, Шигаев, раздвинув волосы на голове Пугачева и посмотрев на пятно, спросил: „Что это там, батюшка, орел, что ли?" Пугачев ответил, что это „не орел, а царский герб". Шигаев снова полюбопытствовал: „Все цари с таким знаком родятся, или это после божиим изволением делается?" Но это любопытство его не было удовлетворено. „Не ваше дело, мои други,—отрезал Пугачев,—простым людям это ведать не подобает". После такого гордого ответа, казаки уже не осмелились его расспрашивать и заявили ему, что они признают его за государя Петра Феодоровича. И несколько позднее Пугачев, убеждая казаков в том, что он подлинный государь, говорил: „На меня воз-

негодовали государыня и бояры, оттого я и ушел. Вот, детушки, страдаю я 12 лет, был на Дону и в России во многих городах и приметил, что народ везде разорен, и вы терпите много обид и налогов". Когда же казаки жаловались на свое положение, Пугачев заявил: „Слышал я об этом, слышал. Когда настоящего пастыря не станет, народ всегда пропадет". Этого было достаточно, чтобы угнетенное репрессиями и потерей исконных прав яицкое казачество поверило, что, наконец, явился истинный, „настоящий" царь-„пастырь", который принесет ему добро, вернет прежнюю волю; и, действительно, всюду по зимовьям, хуторам и уметам быстро распространилась эта непреоборимая уверенность. Такова психология толпы, охотно верящей тому, чему ей хочется верить, но не такова психология отдельных, выдающихся из нее, лиц. Руководившие толпой люди быстро выяснили для себя вопрос о подлинности Пугачева в отрицательном смысле. Но это обстоятельство не обескураживало главарей. „Пусть,—говорил однажды Караваев Чике-Зарубину,—пусть это не государь, а донской казак, но он вместо государя за нас заступит, а нам все равно, лишь бы быть в добре"... Это было понятно и самому Пугачеву, и он не потаил правды перед некоторыми казаками, в том числе и перед скептиком Чикой-Зарубиным, который, хотя и получил категоричное раз'яснение от Караваева, но все-таки пожелал услыхать признание от самого Пугачева и легко достиг своей цели, оставшись с ним наедине в степи. „Я подлинно донской казак Емельян Иванов,—сказал Пугачев,—я был на Дону и по всем тамошним городкам, везде молва есть, что государь Петр III жив и здравствует. Под его именем я могу взять Москву, ибо прежде наберу дорогой силу, и людей у меня будет много, а в Москве войска никакого нет". Впоследствии один из главарей прямо показывал, что Пугачев им открылся, кто он такой, но что они тем не менее его приняли, „взяли под свое защищение", ибо заметили в этом человеке „проворство и способность", и надеялись, что он под именем государя Петра Феодоровича восстановит прежние их, казаков, „обряды", а бояр всех истребит; рассчитывали при этом на „чернь, которая тоже вся притеснена

и в конец разорена". Итак, ясно, что главари оппозиционного яицкого казачества сознательно воспользовались самозванством Пугачева, дабы начать вооруженную борьбу с петербургским правительством; эти главари видели на Яике готовность верить в подлинность „государя", надеялись, что за Яиком поднимется вся простонародная Россия, прежде всего, разумеется, тот край, в котором лежали земли яицкого войска.

IV.

Особенности того края, где разразилась пугачевщина.

Это—обширный край Приуралья, нижнего и среднего Поволжья. Первою из особенностей его, несомненно, была та, что в значительной степени это был край казацкий. Недаром здесь образовалось два признанных правительством казацких войска—волжское и яицкое; а сколько тут было непризнанного властями пришлого народа, всяких беглых и „удалых молодцов-разбойников", все людей, казачествующих по-старинному!...

Соседний Дон давно не мог вместить всего этого „гуляющего" по восточной окраине люда, а в рассматриваемое время и тем менее этот люд задерживался здесь, а шел дальше на Волгу, на Иргиз, в яицкие степи. Волжское казацкое войско было особенно любимым притоном всех беглых и воров, равно как река Иргиз, один из восточных центров раскольничьего мира. Но, будучи в значительной степени казацким, этот обширный край еще в более значительной степени был инородческим. Ведь перед нами прежде всего необозримые нижне-волжские и оренбургско-яицкие степи, служащие продолжением степей донских и днепровских и теряющиеся в бесконечных зауральских пространствах средней Азии. Это—древняя широкая дорога кочевых орд, пробиравшихся когда-то до Днепра и Дуная. Целые века днепровское и донское казачество вело борьбу с кочевниками и отвоевывало себе господство в южных степях; то же делало на юго-восточной окраине яицкое казачество, но последнее само, принявшее в свои жилы много башкирской и киргизской крови, никогда бы не повело борьбы с кочев-

никами так далеко, как это ему пришлось сделать в XVIII ст. под руководством петербургского правительства, вставшего на защиту в крае тех интересов, которые ему были наиболее близки. Это—интересы русской колонизации в богатом всякими дарами природы закамском крае. Еще Петр Великий взглянул на этот край, как на своего рода обетованную землю для заведения в ней горнозаводского дела. Казной и предприимчивыми людьми, которым Петр всячески покровительствовал, начато было здесь такое дело, положено было основание государственной и дворянско-купеческой колонизации дотоле „диких мест". В царствование Петра Великого эта колонизация еще не добралась до башкирских земель, но тем не менее ей было указано именно это направление, и она, так сказать, уже подбиралась к Башкирии, а с 1734 г. правительство приступило к систематической раздаче башкирских земель под горные заводы. Если раньше башкиры не выносили спорадических захватов, то теперь, когда они увидали, что их вольные степи хотят покрыть заводами, истребить их леса, замутить их чистые, многорыбные воды, когда они поняли, что им грозит опасность совсем лишиться и земли и воли, они восстали против петербургского правительства, и борьба их с ним продолжалась целые шесть лет. До какого раздражения дошло правительство, подавляя этот небольшой, но энергичный народец, видно из того, что усмиритель генерал-лейтенант Урусов получил приказ: „оных противников на страх другим без всякой пощады предавать смерти и жилища их разорять до основания". Действительность не посрамила этого приказа: до 28.000 чел. выбыло из башкирского народа убитыми, казненными, запытанными в тюрьмах и проданными в рабство, 396 башкирских селений было разорено; сверх того, и контрибуция была не милостива: с башкир было взято в казну 12.283 лошади, более 6 тыс. коров и овец, свыше 10 тыс. руб., вырученных усмирителями от продажи забранного скота частным лицам. Так правительство оценило попытку башкир отстоять от него и тесно связанных с ним предпринимателей свои земли и свободу. После подавления в 1741 г. мятежа заводская колонизация все глубже и глубже внедрялась в Баш-

кирию, особенно когда во главе тогдашних предпринимателей-промышленников появился один из влиятельнейших членов елизаветинского правительства, такой властный и беззастенчивый хищник, каким был гр. П. И. Шувалов с родственниками и приспешниками. Вместе с тем, все более и более увеличивался произвол администрации, как заводской, имевшей иногда свои собственные гарнизоны с орудиями, так и общей, стоявшей на страже не только казны, но и заводчиков. Администрация не знала никаких пределов в насилиях над башкирским народом. Когда башкиры, отказавшись покупать из казны соль, заявляли, что они будут брать соль из „казны господа бога нашего", то „командиры" напустились на старшин: некоторых бранили, а некоторых по щекам били, за бороду таскали, а иных в город забирали и всячески мучили. Произвол доходил до того, что пьяные „командиры людей саблями рубили и руки отрубали". Нельзя было найти на таких администраторов никакой управы и суда. Все эти „командиры", обладая в высшей степени алчными аппетитами, заботились только о том, чтобы возможно лучше нажиться и насладиться на счет управляемого ими населения. Вымогательства и притеснения сильно посодействовали тому, что башкирский народ снова в 1755 г. поднял восстание... Руководитель этого нового мятежа, Батырша, призывал своих соплеменников к борьбе с правительством во имя ислама; но несомненно он встретил всеобщее сочувствие в башкирском народе потому, что этот народ не мог помириться с потерей своих земель и свободы, не мог помириться с грабительством и другими злоупотреблениями русских местных властей. Батырша впоследствии показывал, что встреченная им толпа башкир, жалуясь ему, кричала: „Злой вор, заводский командир, имение наше покрал и заграбил, жен и дочерей наших пред нашими глазами блудил. Не стерпев таких мучительств, наши убили командира и бежали"... Мятеж, во время коего был сожжен завод гр. А. И. Шувалова, с большим трудом был подавлен Неплюевым, известным колонизатором Оренбургского края. Путем политики по принципу „divide et impera" (разделяй и управляй), Неплюев внес рознь в башкирский народ, воспользовавшись

существовавшими в нем социальными отношениями, и направил другой этнографический элемент степи—киргизов на башкир, дозволив затем под рукой последним броситься на первых... Тут был выполнен план усмирения и управления, указанный еще раньше другим подобным же колонизатором—Кирилловым, который писал: „Ежели калмыки какую противность покажут, то можно на них киргизцев обратить, а напротив того, буде киргизы-кайсаки что сделают, то на них калмыков и башкирцев послать и так друг другом смирять и к лучшему послушанию приводить". Правительство согласилось с этими и другими политическими советами Кириллова и предписало: раз'единять, обезоруживать, устрашать повстанцев строгими наказаниями, высылать всех неблагонадежных башкир из края и подчинить местную башкирскую власть русской администрации. В духе этой программы и действовал знаменитый Неплюев, и вызванную им вражду между названными народцами Неплюев ставил себе в особенную заслугу, был убежден в устойчивости этой вражды и впоследствии говорил, что „Россия от их (башкир и киргизов) согласия навсегда может быть безопасной". Яицкие казаки путем выпрошенных для них Неплюевым материальных льгот были привлечены им на сторону русского правительства и существенно помогли делу замирения края в качестве главной военной силы, размещенной во многочисленных крепостях; этими последними Башкирия была отрезана от других инородцев и заключена „как бы в западню"... Но, несмотря на все это, брожение и беспорядки в Башкирии не прекращались. Правительственный же террор лишь усиливал озлобление башкирского народа против властей и заводчиков. Действуя отдельными партиями, башкиры стремились всеми силами вредить заводам: они насильственно прекращали на них работы, а также размежевание земель, угоняли лошадей и другой скот, пускали красного петуха. Эта частичная повседневная оппозиция башкир против заводской колонизации не мешала ей дальше итти в Башкирии теми же путями, как и ранее, — путем хищнических захватов земли, путем насилий и произвола, „не взирая на страх от башкирских волнений". Да и как было этой колонизации не итти этими путями, когда ше-

ствующих по ним петербургское правительство всячески поощряло: так, например, купца Твердышева, отнявшего с товарищами своими землю у башкирца Юлая, сенат наградил чином коллежского асессора, уволив его из податного состояния за энергичное строение заводов в Башкирии и развитие здесь им горнозаводского дела. В таком состоянии застигает Башкирию и внезапно начавшееся царствование Екатерины II, нисколько не изменившее его к лучшему... Что оставалось делать башкирам? Или бежать, как сделали 50.000 из них, откочевав за Урал к киргизам, или ждать подходящего случая снова померяться в общем восстании с силами петербургского правительства. Большинство башкирского народа и ждало последнего. Ограбленное и оскорбленное в самых заветных своих чувствах, башкирское население таило в себе большой запас ненависти к заводчикам и „командирам“ и, как и русский народ, выводило все свои бедствия из того, что „ныне женский пол государствует“. И здесь надеялись на „государя“, как на „милостивца“, защитника от сильных. „Слух такой носится, — говорили башкиры, — что на государственный престол мужской пол возведен будет, и в то время какой ни есть милости просить постараемся“ [1]. Но другим инородцам-степнякам трудно стало жить с тех пор, как стала заселяться степь русскими, как стали умножаться здесь русские села, заводы, города и крепости с их командирами и командами. Не от хорошей, конечно, жизни ушли в 1771 году из России, оставив свои родные степи, калмыки в количестве 169.000 [2].

Они, разумеется, не прочь были бы возвратиться и назад при подходящем случае и для мести, и для грабежа, и для прежней вольной жизни по сю сторону Урала. С таким же чувством относились к России и к ее наличным предержащим властям и кочевавшие за Уралом киргизы. Не могли ничего, кроме глубокой ненависти, питать все

[1] Н. А. Фирсов. Инородческое население прежнего Казанского царства, стр. 236—444. См. также мой очерк: „Политическое и финансовое значение колонизационной дятельности И. И. Неплюева“. Дубровин, I, 253—272.

[2] Щебальский. „Начало и характеристика пугачевщины“, стр. 11—12.

инородцы к русскому правительству, которое постоянно их обманывало, эксплоатировало и натравливало друг на друга.

Положение оседлых инородцев в Прикамском крае было не лучше. Таково, например, положение ясашных татар. Их, когда они работали на заводах, сильно теснили заводские приказчики, удерживая у них заработанные деньги [1]. И у них же заводчики по захватному праву вырубали лес как на строение, „так и на угольное сжение", захватывали также и сенные покосы. И в Поволжье инородцам—татарам, черемисам, чувашам — жилось плохо, о чем определенно свидетельствуют их наказы депутатам в знаменитую Екатерининскую комиссию. Так, например, в наказе от ясашных татар Свияжского уезда мы читаем следующие жалобы: „Бывает же нам, ясашникам, от многих знатных и полномочных людей частые обиды и безвинные нападки и бой, кои, ведая нас людей подлых и положение за бой и бесчестие по законам малое, то без всякой винности бьют, мучат немилостиво"; до суда иной раз дело не доходит, ибо стоит только уплатить следуемое даже „до решения дела", „а потом паки, надеясь на свое полномочие, захватя, бьют же, приговаривая, что сколько бы еще не бить, они за тот бой и бесчестье заплатить де и в состоянии" [2]. Правительственная ревизия подполковника Свечина в 60-х годах выяснила величайшие злоупотребления местной администрации в Казанской губернии, от которых наиболее пришлось пострадать татарскому населению. Так, например, один из комиссаров, майор Бутлеров, командовавший на казанской дороге, не довольствовался тем, что брал взятки деньгами, овощами и баранами и даже тем, что обложил государственных крестьян-татар, приписанных к означенной дороге, оброком в свою пользу—„по 16 коп. с души, по овце с жительства в год", но и прямо „наряжал их в свою партикулярную работу, в летнее рабочее время без всякой платы", установив таким образом самовольно для государственных крестьян крепостное состояние. Жалобы

---

[1] Мое сочинение: „Русские торгово-промышленные компании", стр. 130.

[2] Сб. И. Р. И. О., том 115, стр. 397—398.

не приводили ни к чему, — и правительственный ревизор в рапорте своем от 29 февраля 1764 г. принужден был сообщить, что на двадцать челобитных о вопиющих злоупотреблениях администрации „и поныне правосудного рассмотрения и решения почти чрез восемь лет не последовало, и бедные иноверцы яко безгласный народ не удовольствованы“ [1]. Само собой понятно, что инородческий „мир“ Приуралья и Поволжья не мог быть доволен такими порядками, почему в нем движение в пользу Петра III, скрывавшегося и явившегося, готово было найти серьезную поддержку. Хуже быть для инородческого мира не могло, а на лучшее будущее он по свойству человеческой природы мог надеяться при перемене правления — „бабьего“ на мужское.

В этих надеждах инородцы края, представлявшие его важную особенность, были солидарны с русским народом, создавшим мысль изменения своего полсжения властью истинного царя. Однако, не от одних заводов, но также и от разных помещиков и их крестьян приходилось плохо местному инородческому населению. В тех же депутатских наказах мы встречаем целый ряд жалоб местных ясашных крестьян на помещиков и их крепостных. „Помещиками и их крестьянами, — читаем мы в наказе от всех ясашных крестьян Симбирского и Сызранского уездов, — мы весьма обижены тем, что они крепостными нашими пашенными землями и сенными покосами, и лесными угодьями, многим числом усиленно владеют“; просьбы же их, потерпевших от таких захватов, остаются без удовлетворения.

Дело доходило до того, что в некоторых селениях ясашных крестьян создавалось этим путем малоземелье, от чего крестьяне приходили „в крайнее убожество“ и теряли способность „к платежу государственных податей“. Кроме потери платежной способности ясашными, к чему не безразлично относилось и государственное казначейство, указанное насильственное лишение их земли вело за собой прямо возникновение инородческого сельского пролетариата, со-

[1] Моск. арх. б. Мин. Юстиции, дело быв. Прав. Сената, № частн. 936, № общ. 3419.

всем бросавшего пашню и шедшего искать „пропитание“ на сторону, главным образом на великую кормилицу всего края—Волгу.

„Многие наши ясашные крестьяне, — свидетельствует „наказ“, — оставя селения свои, странствуют и пропитание имеют от судовых и прочих работ, а не от хлебопашества“ [1]. Действительно, много, очень много было в Поволжьи и прилегающих к нему приуральских степях всякого бездомного люда инородческого (татар, чуваш и др.) и еще более русского, на образ жизни которого мы имеем подробные и точные указания, например, в наказе от пензенского дворянства все в ту же знаменитую Екатерининскую комиссию Нового Уложения. Здесь мы читаем: „От здешних да и других городов и уездов помещиков весьма многое число людей и крестьян, бегая, пристанище и жительство имеют в лежащих на Волге городах: Саратове, Дмитриевске, Царицыне и Астрахани“; далее мы узнаем, что беглые живут в Дубовской и других станицах Вольского войска, в киргизских слободах, станицах Донского войска и даже в самом Яицком городке; особенно же много скрывается беглых „в построенных от разных жителей саратовских, дмитриевских и казачьих хуторах, называемых ими зимовья“; здесь, „собираясь,—сообщает пензенское дворянство,—беглые и подозрительные люди зимуют и, живучи, на разные злодейства и прочие непотребства соглашаются и в вешнее время по тому своему согласию, некоторые в здешние и прочие места приходя, в жительствах разных чинов людей, а особливо дворянство разбивают и умерщвляют, проезжающих по дорогам грабят, а другие по реке Волге на судах с плывущими то же чинят; кои ж к таковым злодействам не соглашаются, те на плывущие по Волге суда нанимаются и, до самой зимы в той работе обращаясь, зимовать паки в тех самых зимовьях, а в городах и уездах к обывателям приходят“ [2]. Эта типическая картина из жизни юго-восточной окраины во второй половине XVIII в. указывает, что со времен Разина,

[1] С. И. Р. И. О., т. 115, стр. 346, 350, 352, 353 и др.
[2] С. И. Р. И. О., т. 68 (1889 г.), стр. 14 и 15.

в течение ста лет мало что изменилось в общем характере жизни на нижней Волге и на прилегающих к ней равнинах: здесь, на этих обширных пространствах мы попрежнему находим значительное количество голытьбы, бежавшей сюда, конечно, не от хорошей жизни, голытьбы столько же энергичной, сколько и озлобленной, не позабывшей добывать себе „зипуны“ старыми способами волжских „добрых молодцев“—разбоем и бурлачеством; здесь перед нами попрежнему как бы гигантский резервуар, куда, в лице стекавшихся отовсюду беглецов сливалось народное недовольство со всей России. Но в лежащих на восток от Волги местах народное недовольство было наиболее жгуче, ибо произвол сильных там был наиболее неудержим.

Припомним только такого изверга-помещика на новых местах Оренбургского края как, например, Куролесов, по приказу которого священник венчал его холопа с чужой замужней крестьянкой, насильственно взятой у мужа. Куролесов ничем в самовластии и жестокости не уступал знаменитой Салтычихе: он драл крестьян так, „что жизнь наказанных людей спасали только тем, что завертывали истерзанное их тело в теплые, только-что снятые шкуры баранов, тут же зарезанных“ [1]. Припомним все художественно переданное об этом пришлеце-помещике в оренбургских степях С. Т. Аксаковым в его жизненно-правдивой и искренней „Семейной хронике“, и мы поймем, почему именно в этом крае нашлась благодатная почва для реализирования самозванческого замысла Пугачева и его яицких сторонников. Сюда, в „Уфимское наместничество“ или в позднейшую Оренбургскую губернию, бежало много недовольных из других мест империи, но здесь, на новых местах, оказывались и свои, местные, причины для народного недовольства, ибо здесь страсти не замедливших явиться сюда господ разыгрывались во всю ширь степного простора...

Степь становилась простором именно для господ, а для всех остальных, туземных и пришлых элементов, на ней делалось тесно жить... Тесно стало жить яицким казакам, башкирам и другим инородцам, крестьянам, беглым; но

[1] Семейная хроника и восп. Часть 1-я, стр. 77—79.

в степи был еще недовольный пришлый элемент—это заводские рабочие, тоже чрезвычайно важная особенность всего Приуральского края, ибо не в ином месте, а именно на среднем Урале была главная база горной промышленности, откуда она, все более развиваясь, и наступала на башкирскую степь. На пермских, уфимско-оренбургских горных заводах, столь ненавистных приписанным к ним крестьянам, много было и своего недовольства, постоянно переходящего в волнения заводских рабочих, из коих многие были когда-то укрывшиеся на заводах беглые в чаянии лучшего и попавшие еще в худшее положение; из таковых иные бежали снова искать более сносной жизни и окончательно попадали в состав тех „подозрительных" людей, на которых так горько жаловались правительству дворяне.

Таким образом весь край, имея, как мы видели, свои особенности, сводившиеся к резким социальным противоречиям, край, отдаленный от центров, редко населенный и, вследствие обширности пространства, плохо опутанный административно-военною цепью,—был переполнен недовольством разнообразных групп населения своим положением.

Сверх всего сказанного, не надо забывать, что именно на этой окраине происходила наиболее смелая и упорная борьба с государством и его социальными устоями—на протяжении многих русских и инородческих поколений, и эта борьба не могла не выработать бунтовского темперамента в местном населении, не могла не заложить в его психику вместе с любимыми воспоминаниями о таких народных героях, как Разин, духа отваги и восстания. Все перечисленные особенности Поволжско-Приуральского края, кажется, вполне об'ясняют, почему замысел Пугачева, принятый яицкими главарями, получил быстрый успех на всем пространстве этой обширной территории.

V.

Социальный состав пугачевщины в связи с общим ходом мятежа.

Предыдущее изложение указывает главные социальные элементы, которые по условиям своей жизни неизбежно должны были принять и действительно приняли активное участие в пугачевщине. Это—яицкие казаки, инородцы, особенно башкиры, всякие беглые, гулящие люди Поволжья и прилегающих к нему степей, заводские рабочие и крестьяне. Но, несмотря на то, что в общем социальный состав пугачевщины уже ясен из предыдущего, мы однако должны еще остановиться на этом вопросе. Это необходимо потому, что участие упомянутых главных общественных элементов было неодинакового значения в разные фазы мятежа: более точно выяснить это участие возможно лишь в связи с изучением общего хода пугачевщины, что мы и попытаемся сделать в настоящей главе.

Изучая развитие мятежа, начатого в сентябре 1773 г. резко-оппозиционной группой яицкого казачества с донским казаком Емельяном Пугачевым—под именем Петра III—во главе, мы видим, что первый период восстания—это действия под Оренбургом. Довольно долго на сторонний взгляд восстание представлялось местными оренбургскими делами, тщательно однако скрывавшимися правительством от общества. Таким представлялось дело, например, прусскому посланнику Сольмсу, который в январе 1774 года не мог сообщить своему королю ничего положительного „о поло-

жении дел в Оренбурге" [1]. А между тем, восстание, начатое с незначительной группой, около сотни человек, явившихся по первому зову,—казаков, беглых, калмыков,— уже к концу ноября 1773 года приняло грозные размеры: Пугачев господствовал во всей северо-западной части Оренбургской губернии, и его популярность в народных массах крепла с невероятной быстротой далеко за ее пределами. Положение края сделалось еще серьезнее от того, что киргиз-кайсаки, воспользовавшись пугачевским движением, наводнили для грабежа южную часть Оренбургской губернии. Быстрому успеху Пугачева содействовало и то обстоятельство, что крепости того края были очень плохими опорными пунктами. Деревушка, окруженная невысокою насыпью с тыном, вооруженная какой-нибудь старой пушкой и защищаемая горстью столь же малопригодных, как и крепостная пушка, для боевых действий инвалидов,— вот типический облик тогдашних оренбургских крепостей, хорошо известный по знаменитой пушкинской повести. Немудрено, что такого рода крепости легко одна за другой переходили в руки Пугачева. Взяв длинный ряд крепостей, Пугачев, имея свою главную квартиру в слободке Берде, занялся осадой Оренбурга, который был ненавистен яицким казакам, как главный правительственный оплот в крае, а правая рука самозванца, яицкий казак Чика-Зарубин, успешно действовал именем Петра III под Уфой, имея свою главную квартиру в селе Чесноковке.

Тем же именем, не спрашивая никаких указаний от Пугачева, совершенно самостоятельно действовали и другие предводители отдельных шаек, в числе которых самовольно являлись в качестве царевых полковников и атаманов и яицкие казаки, и башкирцы. В этот, так сказать, оренбургский период мятежа наиболее активную силу составляли яицкие казаки с примкнувшими к ним беглыми, разбойниками и заводскими крестьянами, и инородцы.

Заводские рабочие существенно подкрепили восстание, начавшее вбирать в себя и крестьянство уфимско-оренбургского края. Так происходила смычка между заводскими

[1] Сборн. Имп. Р. И. Общ., т. 72, стр. 415 и 429.

и помещичьими „рабами“: они были родные братья по положению и по происхождению. Не даром и главнейшим агитатором на заводах в Приуральском крае явился беглый крепостной крестьянин Хлопуша, один из самых энергичных, умелых и грозных сподвижников Пугачева. Потеряв при экзекуции ноздри (он во время мятежа постоянно носил повязку на носу) и побывав на каторге, откуда также бежал, Хлопуша с головой бросился в начавшееся движение против „господ“ и их царицы. Он достаточно побродил по Приуральскому краю и знал его вдоль и поперек; прежде всего, конечно, знал тяжелое положение рабочих на заводах этого края; несомненно озлобленный своей горемычной судьбой, всеми доставшимися на его долю истязаниями, Хлопуша, при его знании местных условий, был незаменимым агитатором среди заводского населения. Но его роль не ограничилась только агитацией, он явился и организатором рабочего движения и в высшей степени умело использовал самые заводы для дела восстания. Он руководил на заводах литьем пушек, ядер и производством пороха и затем посылал и пушки и необходимые к ним боевые припасы Пугачеву. Равным образом Хлопуша сформировал из заводских рабочих кадр „людей, годных к употреблению с лопатками, кирками и другими горными инструментами“, и также посылал их в пугачевское войско, таким образом организовав в нем артиллерийскую и саперную части. И пугачевская артиллерия с опытными артиллеристами из заводских рабочих и старых солдат внушала к себе почтение даже таким екатерининским „защитникам“, как Михельсон.

И начало такой организации дела положил Хлопуша еще в оренбургский период восстания, когда он, бывший крестьянин, привлек заводских рабочих к начатой борьбе с правительством и „господами“. Крепостное крестьянство уфимско-оренбургского края в тот момент тоже примкнуло к движению в пользу Петра III, обратив в бегство помещиков большого района вокруг Оренбурга; однако, настоящая жакерия была еще впереди. Тем сильнее в рассматриваемый момент оттеняется участие в движении инородцев, главным образом степняков, хотя и оседлые охотно шли под знамена Пугачева. Так, еще в начале оренбургской

блокады в стан Пугачева прибыли 500 человек черемис, 600 человек башкир и 300 ставропольских калмыков,—все со своими старшинами [1].

Поражение Пугачева кн. Голицыным 22 марта 1774 г., под крепостью Татищевой, является поворотным моментом в истории мятежа. Последствием этого поражения было оставление Пугачевым Берды и, следовательно, освобождение Оренбурга от блокады разношерстной пугачевской ордой. Новое вскоре затем (1 апреля) понесенное Пугачевым поражение под Каргалой лишило его последних военных сил, оставшихся еще у него после татищевской бойни, и первых, наиболее видных сподвижников—Максима Шигаева, Ивана Почиталина (пугачевского секретаря), Тимофея Падурова и др.,—и „государю" Петру III ничего не оставалось, как опять скрыться на время. Он скрылся в Башкирию. Оренбургский период мятежа окончился, тем более, что одновременно с прекращением бердинского господства Пугачева уничтожено было и чесноковское господство главнейшего пугачевского „генерала", руководителя восстания в Башкирии, Чики-Зарубина, державшего в блокаде другой, северный, важный пункт края—г. Уфу. Разноплеменные толпы этого „генерала", в которых башкиры явились самыми непримиримыми, были на голову разбиты под Чесноковкой Михельсоном, а затем сам Чика был схвачен в Табынске, и пугачевская карьера его кончилась.

Сверх того, несколько раньше поражения Пугачева под Татищевой, последовали тяжкие неудачи пугачевцам в местах, лежащих севернее Уфы, в заводском районе Кунгура и Екатеринбурга. Таким образом начавшееся движение на заводах упомянутого сейчас района,—движение, о котором власти узнали еще в начале января,—было приглушено, и действовавшему здесь пугачевскому военноначальнику Белобородову пришлось с немногими своими сподвижниками бежать на соединение с Пугачевым. Мятеж, перешагнув Урал, достиг пределов Сибирской губернии, но и здесь пугачевцев постигли неудачи, и если бы оперировавший в этом крае против мятежников генерал Деколонг, после

[1] Дубровин, II, 85.

боевых успехов своих подчиненных, из Челябинска двинулся на юг, то, по мнению академика и военного генерала Дубровина, „Пугачев мог быть окружен со всех сторон". Пугачев уже скрывался в Башкирии, а энергичный главнокомандующий Бибиков, организаторскому таланту которого правительство в значительной мере было обязано удачной борьбой с мятежниками, скончался (9-го апреля), когда, наконец, генерал-майор Мансуров освободил (16-го апреля) Яицкий городок от осады пугачевцами; при чем один из главных вожаков их—казак Дехтярев—попал в плен, а двое других—Овчинников и Перфильев—ударились в степь... На поверхностный взгляд правительства казалось, что после таких успехов в борьбе с Пугачевым и главнейшими его сообщниками осталось очень немного сделать для окончательного подавления мятежа. Но военные неудачи Пугачева еще не ослабили народного гнева, массы еще не изверились в конечное торжество своего „государя", тем более, что он был на свободе; он только снова „скрылся". Если бы даже и энергичный Бибиков (смертью которого об'ясняют последовавшие неудачи в борьбе с мятежом) был жив, то и ему, вероятно, было бы нужно много и власти и военных сил для решительного подавления восстания. А главное, нужно было время разрядиться тем чувствам, коими народная психика была насыщена до высочайшей степени...

И вот Пугачев, принятый башкирским народом и им подкрепленный, снова появился перед правительством и его агентами еще более сильный и грозный, чем раньше, как будто бы он и не был поражен вовсе. Правда, после того, как Пугачев, ударив из Белоречинского завода на верхнеяицкую линию, взял Магнитную крепость,—затем снова потерпел несколько поражений от правительственных войск, особенно от Михельсона, тем не менее каждый раз он, спасшись и скрывшись, снова подкреплялся новыми толпами своих сторонников. Кроме заводских рабочих, прибывших к нему с Белобородовым из-под Екатеринбурга, и яицких казаков с Перфильевым и Овчинниковым из-под Яицкого городка, в состав пугачевских банд входили: красноуфимские казаки, заводские рабочие, помещичьи и эконо-

мические крестьяне, бурлаки и разные инородцы—татары, вотяки и, особенно, конечно, башкиры. У башкир были свои вожди, живо ухватившиеся за поднятое Пугачевым восстание и много ему помогавшие своей агитацией среди родного народа. И это вполне понятно: этих вождей, особенно Салавата Юлаева, поэта-импровизатора своих песен и страстного борца за свободу Башкирии, воодушевляло обещание Пугачева отдать эту милую башкирскому сердцу неоглядную степную страну в полное владение башкирам и вывести из нее все пришлое русское население. Затем, отряды Пугачева попрежнему пополнялись сдавшимися гарнизонными солдатами и теми лицами разного общественного состояния, которые волей или неволей попадали в стан Пугачева и потому могли бы считаться случайными „подданными" обретшегося „государя". Главнейшей силой Пугачева в этот новый, второй период его самозванческой карьеры, вплоть до взятия им Казани, несомненно были башкиры и заводское население. По взятии города Осы, Пугачев отдал приказ башкирам выступить в поход „по одному человеку, а если в доме три человека, то двум"; затем, переправившись, при помощи заводских крестьян деревень Пристанической и Зубачевки и экономического села Дубровы, через Каму, Пугачев взял и опустошил несколько заводов и в том числе Воткинский и Ижевской [1]. Со взятием последнего завода дорога к Казани была совершенно открыта; бывший пугачевский полковник Верхоланцев сообщает, что на Ижевском заводе Пугачев решил итти на Казань [2]. Н. Ф. Дубровин, игнорируя это указание, ссылается на другое, по которому значится, что Пугачев на другой день по занятии Осы об'явил яицким казакам о походе на Казань, якобы на свидание со своим сыном Павлом Петровичем [3]. Это свидетельство не противоречит показанию Верхоланцева: об'явить об этом своем намерении Пугачев мог и в Осе, но окончательное решение итти

---

[1] „Русск. Стар." 1876 г., XV: „И. И. Михельсон", статья Ореуса, стр. 199; Дубровин, цит. соч., III, стр. 72—74.

[2] Цит. по рукописи Музея отечествовед. Каз. у.

[3] Дубровин, III, стр. 72.

на Казань, разумеется, могло состояться лишь после того, как Пугачев обеспечил себе тыл взятием таких заводов, как Воткинский и Ижевской, и присоединил рабочий люд этого заводского района к своей импровизированной армии.

Когда Пугачев подступил к Казани, эта армия, сильно пополнившаяся крестьянским населением казанского края, достигла очень внушительной цифры—20.000 человек. Плохо защищенная Казань была взята и, будучи подожжена, почти вся выгорела (12-го июля). Уцелевшие защитники засели в Кремле, куда прежде всех спрятался храбрый на словах родственник фаворита генерал-майор П. С. Потемкин, начальник секретной комиссии, обещавший погибнуть в борьбе со „злодеем", но на деле поспешно уведший свой отряд без боя в более безопасное место... Это был момент такого торжества для самозванца, какого он еще не имел: самый значительный город края, столица всего Поволжья, разграбленная и сожженная, в развалинах лежала у ног грозного „государя", а он, сидя в кресле, принимал от явившихся к нему казанских татар подарки, как вещественное доказательство их верноподданнических чувств. Но не успел Пугачев и его многочисленное ополчение в меру своих аппетитов и сообразно своим вкусам насладиться последствиями легкой победы, как явился Михельсон, с понятным нетерпением ожидаемый осажденными в крепости, и стремительным ударом вырвал Казань из рук вчерашних победителей. Вслед за первым поражением под Казанью, Пугачев два раза пытался вернуть себе этот город, но безуспешно. Разбитый Михельсоном вторично 14-го (первая победа Михельсона над инсургентами 13-го), Пугачев уже на другой день имел под своим предводительством до 15-ти тысяч человек. С такою головокружительною быстротою самозванец мог „скопляться" только потому, что под Казанью он встретил чрезвычайное сочувствие к себе со стороны крестьян. С этого именно момента движение, бывшее в первом своем периоде преимущественно казацко-инородческим, во втором—башкирско-заводским, становилось главным образом крестьянским—жакерией; при всем том ни на минуту не следует забывать,

что и в первые два периода пугачевщины крестьянство выдвигало не мало непосредственных участников и даже,— в лице бывших крепостных—разных Хлопуш и других преступников [1];—руководителей движения. А главное, недовольство крепостного крестьянства было тем фоном, на котором развертывалось движение, который с самого начала воодушевлял самого Пугачева, вызывая перед его умственными очами заманчивую перспективу поддержания его дела всей „чернью" на Руси, т.-е. преимущественно обездоленным и угнетенным крепостным крестьянством.

Насколько то обстоятельство, что „Пугачев имел в народе много сторонников" [2], ярко сознавалось им самим, можно видеть из следующего диалога, который относится к тому времени, когда Пугачев еще только собирался развернуть свои „императорские" знамена.

Разговаривая с одним из своих сообщников, Пугачев заметил, что, если его не примут яицкие казаки, то он „пойдет мимо Яицкого городка и станет пробираться в Русь".

— Как это,—возразил тот...—С кем итти-то, ведь у вас немного людей будет.

— Нет, я думаю, ко мне много пристанет,—заявил Пугачев. —Если же людей будет мало, так я опять скроюсь: мне не надлежало еще теперь являться, да не мог я вытерпеть притеснения народного. Во всей России чернь, бедная, терпит великие обиды и разорения; для нее-то хочу теперь показаться, и она вся ко мне пристанет [3].

Теперь, после того, как с каждым новым поражением у Пугачева становилось все менее и менее ближайших помощников и настоящих боевых людей, т.-е. яицких и других казаков, а также и казачествующих представителей степного и поволжского населения, все более и более выяснялось, что и при малом количестве этих главных руко-

---

[1] С. И. Р. И. О., т. 72, стр. 463.

[2] „Русск. Старина", 1892 г., т. 75.—„Русские достопримечательные люди", стр. 7.

[3] Дубровин, т. I, стр. 225.

водителей движения мятеж может продолжаться, ибо за него „чернь", народ. „Не можно представить себе,—так доносил вышеназванный „герой" Потемкин кн. Щербатову о положении дел в крае после бегства Пугачева из-под Казани,—не можно представить, до какой крайности весь народ в здешнем крае бунтует". Действительно, наиболее энергичные пугачевцы рассыпались по Казанской и Нижегородской губерниям и явились зараз и агитаторами и организаторами всеобщего здесь крестьянского восстания.

„Несчастье велико в том",—сообщал нижегородский губернатор Ступишин кн. Вяземскому,—что рассыпанные злодеи, где они касались, все селения возмутили и уже без Пугачева делают разорения, ловят и грабят помещиков". Тем более был опасен, как самый зажигательный фитиль, сам Пугачев, или, по народному убеждению, сам „государь" Петр Феодорович. Его, предполагаемый властями, переход за Волгу вызывал в них вполне справедливые опасения относительно дальнейшего развития мятежа: „D'ailleurs, mon prince,—писал все тот же Потемкин „главнокомандующему" войсками кн. Щербатову,—vous savez que le scélérat trouvera partout des groupes et qu'il fera beaucoup du mal, s'il passe le Volga"... Это было написано 18-го июля (1774 г.), когда Пугачев уже был за Волгой, переправившись через нее накануне, 17-го июля, с немногими сообщниками на три версты пониже села Сундыря. Вся ватага Пугачева, уменьшившаяся до 400 человек, переправилась в разных местах, кто на лодках, кто вплавь, на лошадях и, по переправе, разбилась на две партии, при чем одна партия с Пугачевым двинулась на Чебоксары, а другая в чувашские деревни и на помещичьи усадьбы. По мнению академика Дубровина, в этот критический для себя момент Пугачев „легко мог быть уничтожен, если бы главнокомандующий был на месте действий и не выпустил войск из своих рук"[1]. Но кн. Щербатов был не Бибиков, не ехал сразу, когда его звали, действовал нерешительно,—и Пугачев успел оправиться, а мятеж закипел с удвоенной силой, с быстротой урагана распространяясь в поволжских губер-

[1] Дубровин, т. III, стр. 104—108.

ниях и грозя сделаться всероссийским народным пожаром. Все это так. Кн. Щербатов оказался ниже надежд на него Екатерины, но все-таки главная причина новых успехов мятежа заключалась не в слабости главнокомандующего, а в силе желания народа освободиться от своих притеснителей, силе, которая достигла крайних пределов именно в этот момент. Не надо упускать из вида, что перед тем Пугачев взял столицу Поволжья—Казань. Это событие было куда внушительнее прежних успехов Пугачева и потому не могло не укрепить убеждения в народе, что такое большое дело, как взятие Казани, мог совершить лишь настоящий „государь"; это событие настолько воодушевило народные массы, что последовавшееее затем бегство Пугачева из-под Казани не могло особенно охладить их: они продолжали верить в идущего к ним „государя", а при таком настроении народа охрана Пугачева попадала в заботливые руки, так что и бо́льшая подвижность князя Щербатова, как главнокомандующего, едва ли вырвала бы давно жданного „государя" из этих рук в то время, пока он оставался среди преданного ему народа... Ведь не надо забывать, что, по сознанию самого начальника следственной комиссии, весь народ в крае бунтовал до такой степени, что это трудно было и представить себе заочно. Итак, перед Пугачевым после Казани лежала широкая дорога на Нижний, а отсюда и на Москву. Главные его сообщники, яицкие казаки, и раньше не раз звавшие Пугачева в Москву, видя теперь воочию общую готовность народа поддержать „государя", указывали ему именно на эту широкую дорогу. Правда, в Сундыре, куда Пугачев переправился на Кокшайском перевозе, он сначала не был признан, за что село было сожжено, но это неоказание верноподданничества было редким, исключительным явлением и нисколько не изменяет картины всеобщего крестьянского восстания в среднем Поволжьи, восстания крепостных, пример которых был заразительным и для инородцев края. Имея в своем собственном положении полную опору для подражания восставшему крепостному крестьянству, начали бунтовать татары, чуваши, вотяки, черемисы и мордва. „Сельское население,— рассказывает один современный пугачевщине иностранный

резидент, — толпами выходило навстречу Пугачеву и приветствовало его, как своего избавителя“ [1]. Крестьян, явившихся конными, Пугачев принимал на свою государеву службу, а пеших отпускал, и они, составляя шайки, принимались за самостоятельную, истребительную по отношению к помещикам и их вотчинам деятельность [2]. Эти шайки служили хорошим прикрытием Пугачеву, тщательно избегавшему теперь, после поражения под Казанью, встречи с правительственными войсками. Крестьян, принятых „в казаки“, было немало. Так, в Мамадышевской волости (Казанской губ. и уезда) из одних экономических селений [3] Пугачев и его сообщники взяли в казаки 283 человека. В других волостях этого же уезда самого Пугачева не было, но были пугачевцы, и они взяли в казаки из крестьян в Осиповской волости 119 челов., в Полянской—120 челов [4].

Момент, когда Пугачев самыми событиями был поставлен перед вопросом, итти или не итти ему на Москву, был весьма опасным для правительства Екатерины. Недаром нижегородский губернатор боялся, „дабы злодей, заведши деташементы все отсель“, не сделал оборота к Нижнему или на московскую дорогу: „первое,—писал губернатор Михельсону, — потому важно, что здесь великие тысячи на судах бурлаков, прибывших и... прибывающих, а московская дорога не менее важна своих ради причин“ [5]. И недаром Екатерина, заменив нерешительного кн. Щербатова тоже не проявившим энергии (после первой победы над Пугачевым) кн. Голицыным, вместо последнего назначила „перед всем светом первого враля и ее персонального оскорбителя“ гр. П. Панина главнокомандующим войсками на театре мятежа и вместе с тем гражданским правителем в губер-

---

[1] Из дипломатич. переписки о России XVIII ст., „Русск. Стар.“ 1896 г., т. 86, стр. 118.

[2] Т.-е. селений, находившихся в ведении коллегии экономии, поставленной для управления бывшими монастырскими и прочими церковными вотчинами.

[3] Московск. арх. быв. Мин. Юстиции, связка 590, дело 39, листы 244—254.

[4] Ibid.

[5] Дубровин, III, стр. 127.

ниях Казанской, Оренбургской и Нижегородской и вызвала лучшего своего боевого генерала Суворова на этот же театр, где все более и более развертывалось грозное зрелище настоящей жакерии [1]. Это был третий, самый страшный период мятежа, не на шутку грозившего Екатерине чуть ли не полным крушением ее дворянско-царской карьеры [2]. „Половина империи,—писал один иностранный дипломат,– была об'ята паническим страхом, и дух мятежа, одушевлявший Пугачева, обуял остальных жителей страны. Пугачев был в нескольких переходах от Москвы, и двор собирался удалиться в Ригу" [3]. Турецкий пленный Мухамед Неджати Эфенди, находившийся в это время в России, свидетельствует в своих записках, что, когда Пугачев был близко к Москве, началось волнение и в новой столице — Петербурге—„на рынках и базарах", подобно тому, как оно „было в Москве" [4]. Вполне понятно после этого замечание Кастеры: „Le peuple l'attendait comme un libérateur". Но Castera думал, что было уже поздно, ибо Пугачев боялся, что, по заключении Россией мира с турками, ему придется сражаться с большею частью армии фельдмаршала Румянцева [5]. Можно согласиться с Caster'ой, что Пугачев, занявшись осадой Оренбурга и Яицка, пропустил наиболее благоприятное время для движения в крепостные губернии [6], тем более, что еще в апреле началось крестьянское брожение в Воронежской и других великороссийских губерниях [7]; но, несмотря на это, едва ли следует соглашаться с Кастерой в том, что в рассматриваемый момент уже поздно было итти на Москву. Предшествующие указания говорят

---

[1] Дубровин, 143 и 144; Щебальский, Начало и хар. Пугач,, 80.

[2] „Si Pougatchëv, — говорил кн. Долгоруков,—avait eu une intelligence politique véritable, il pouvait en proclamant l'émancipation des serfs, sans leur permettre de verser le sang des nobles, et en promettant une constitution (?), marcher sur Moscou et Saint-Pétersbourg et renverser Catherine". La vérité sur la Russie, 1860 г., стр. 200—201.

[3] „Русск. Стар.", 1896 г., т. 86. Из дипломат. переписки о России XVIII в., стр. 142.

[4] „Русск. Стар.", 1894 г., кн. 4—6, стр. 145.

[5] Histoire de Catherine II, т. II, 185.

[6] Ibid. 173 и 174.

[7] Дубровин, III, 44.

совершенно обратное; да и сам Кастера говорит, что народ ожидал Пугачева, как своего освободителя, таким образом противореча своему заключению, но, конечно, не противореча факту конечной неудачи мятежа, несомненно подсказавшему, как это часто бывает у историков, и вышеозначенное заключение. В самом деле, даже позднее, когда дело Пугачева было окончательно проиграно, настроение народа было в высшей степени сочувственным Пугачеву, которого народ продолжал считать „государем". Так, от 23-го сентября Гуннинг писал, что „неудовольствие народа едва ли не повсеместно и что у самых ворот столицы крестьяне называют Пугачева не иначе, как Петром III" [1].

При всем том Пугачев не воспользовался этим моментом, когда жакерия готова была охватить и центральные области государства, отклонил смелое предложение своих ближайших сподвижников — яицких казаков — и, взяв несколько уездных городов в среднем Поволжьи, от Саранска двинулся к югу, с необыкновенной быстротою отступая от правительственных отрядов, наконец энергично принявшихся его преследовать. Это поспешное отступление всюду по пути зажигало мятеж. Шайки Пугачева распространились по губерниям Нижегородской и Воронежской, добирались и до Тамбова; но сам Пугачев уже нигде не задерживался: он стремительно спешил к низовьям Волги, оставив крестьянский мятеж позади себя на произвол судьбы, как это в свое время сделал Стенька Разин после поражения под Симбирском. Позади Пугачева в крестьянской громаде начали появляться свои Петры III, и в каждой деревне был свой Пугач, ведший ее к агрессивным действиям, а главный Пугач летел уже из занятой им Пензы через Петровск в Саратов, по взятии же его несся дальше к Камышину, Дубовке, Царицыну, наводнив своими шайками Астраханскую губернию. Пугачев стремился на Дон, видимо рассчитывая на помощь донского казачества. Помощь, которую Пугачев нашел в Саратове и ниже, была не в состоянии спасти его... Под Саратовым к нему присоедини-

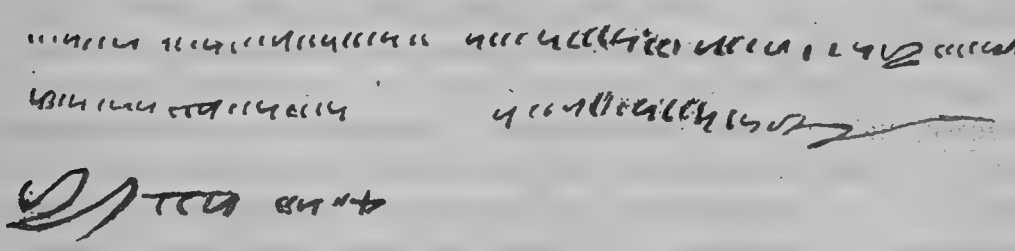
[1] „Русск. Стар.", 1896 г., т. 86. Из диплом. переп. о России XVIII стол., 124 стр.

лись волжские казаки, а за Саратовым Пугачева нагнала толпа заводских крестьян, все время шедшая за ним от самой Казани; в Камышине явилось к Пугачеву 600 малороссийских казаков, а под Дубовкой, по показанию Верхоланцева, до 500 донцов „с полным вооружением и снарядами". Ставропольские калмыки, присоединившиеся к Пугачеву под Царицыным в количестве до 3.000, существенно дополнили пугачевское войско, которое вместе с шедшими в нем крестьянами и дворовыми разного рода достигало целых десяти тысяч человек. Но скоро выяснилось, что присоединившиеся казацкие элементы—это не такое ядро, каким раньше, в начале мятежа, были яицкие казаки, которых теперь оставалось не более 300 человек. Эти новые казацкие прозелиты оказались неустойчивыми, а донские казаки прямо изменили Пугачеву в решительную минуту; все же остальные многочисленные приверженцы Пугачева, шедшие за ним гигантским табором с женщинами и детьми, представляли не войско, а плохо или совсем невооруженную толпу, неспособную, разумеется, дать победы главному вождю ее при столкновении его с регулярными войсками. Это последнее произошло 26-го августа ниже Сарепты, у Сальникова завода, где, наконец, Михельсон настиг Пугачева и разбил на-голову... Сбродное полчище самозванца рассеялось, а сам он с незначительным количеством людей переправился на левый берег Волги и был увлечен своими немногими уцелевшими (главные из них, с которыми Пугачев начал дело, все были потеряны) сподвижниками—яицкими казаками—в степь, на Узени,—„в место такого положения, кое всю мятежническую тварь в себя вмещает". Там самозванец был схвачен недавними своими „генералами" Иваном Твороговым и Чумаковым, а также и другими яицкими казаками (Бурновым, Федульевым, Железновым и др.) и выдан правительству. В ночь с 14-го на 15-е сентября Пугачев, забитый в „превеликую колодку", был привезен в Яицкий городок, под которым год тому назад началась его самозванческая карьера [1].

---

[1] Рукопись Музея отечеств. Каз. унив. Пушкин, 104 и 105 стр. Щебальский, 80—85; 112. Дубровин, III, 162—280.

Итак, в последний период мятежа социальный состав его изменился в сторону преобладающей роли крестьянства, начавшего повсюду в Поволжьи восставать против помещиков и готового начать повсеместное восстание в империи; именно в этом периоде пугачевщина сделалась тем, к чему народные массы были подготовлены тяжелой практикой крепостного права в течение XVIII столетия и особенно в царствование последней императрицы, дворянского режима которой не вытерпел народ и поднялся на него по призыву обретшегося „государя“. Но крестьянское сельское восстание могло бы послужить прочной опорой для успеха этого



Снимок с начертаний, сделанных собственноручно неграмотным Пугачевым.

„государя“, если бы он сумел, как теперь выражаются, его „использовать“, если бы он не ушел от него, а, как он сам предполагал в самом начале своей карьеры, пошел бы „на Русь“, навстречу движению, в Москву, главный центр великорусского народа... А так как Пугачев на это не решился, предпочтя кружиться по периферии, в местах, издавна служивших ареной для действий вольницы, то крестьянское движение, сыграв свою выдающуюся роль в истории пугачевщины, очень мало повлияло на ход предприятия самого Пугачева. Не сумев организовать громадное народное движение и стать во главе его, Пугачев в Нижне-Волжской степи был обречен на гибель со всем своим пестрым табором, где рядом с представителями разных разрядов казачества находилось огромное количесто господских крестьян и дворовых, какого не было в первые два периода (особенно в первый) мятежа; но эти крепостные в пугачевском полчище были лишь жалким осадком оставшегося

позади „царя Петра Феодоровича“ народного восстания и всенародного брожения... Таков социальный состав пугачевщины, если мы будем считаться с наиболее активными общественными элементами, принимавшими в ней участие; но временный успех Пугачева в Приуралье и затем в Поволжье был бы не вполне понятен, если бы мы не упомянули и о других общественных элементах, так или иначе содействовавших этому успеху. Таково население, а нередко и воинские команды взятых Пугачевым городов; те и другие, захваченные пропагандой об „истинном государе“, во многих случаях не сопротивлялись, переходили на его сторону и таким образом решали вопрос о ближайшей судьбе городов в пользу Пугачева. Польские конфедераты, хотя, может быть, и не верили в подлинность появившегося Петра III, но нет ничего невероятного в том, что они более тяготели к нему, чем к той императрице, которая приступила к разделу „Речи Посполитой“ и пленниками которой они состояли [1]. Если участие или неучастие конфедератов было довольно безразлично для хода мятежа, то отнюдь нельзя сказать того же о русском духовенстве. Белое духовенство принимало несомненное и местами довольно деятельное участие в пугачевщине. Причину этого явления надо искать прежде всего в том, что белое духовенство сел и городов стояло близко к народу и разделяло с ним многие невзгоды, шедшие от сильных мира сего: приниженность социального положения толкала некоторых представителей белого духовенства в ряды активной народной оппозиции, основные причины коей лежали в общих условиях жизни простого люда и в соответствующей им психологии народных масс. Вот почему лишние члены духовенства, так называемые

[1] Так, гр. Сольмс от 24-го января (4 февраля) сообщал своему королю, что „в мятеже участвуют преступники, работавшие на рудниках, и польские конфедераты“. Сб. Имп. Р. И. Общ., т. 72, стр. 463. В статье неизвестного автора — „Поляк - конфедерат в Сибири“ („Русск. Арх.“, 1886 г., I, 298) читаем, что конфедераты, состоящие в оренбургском гарнизоне, были обвинены в желании передаться Пугачеву, за что их арестовали и наказали батогами. Впрочем, может быть, они были только о б в и н е н ы... Акад. Дубровин в одном случае указывает на отчаянное сопротивление конфедератов приступу пугачевской толпы.

крестцовые попы, оказались замешанными в подготовке московского мятежа во время чумы [1]; по тому же самому во время пугачевщины и нелишнее белое духовенство кое-где, в наиболее глухих местах, настолько увлекалось общим народным потоком, что давало стратегические советы инсургентам или даже прямо вставало во главе мятежных отрядов. Так, в первый период мятежа, шайки, оперировавшие под Тюменью, Туринском, Краснослободском и Курганом, имели своими предводителями преимущественно священников, дьячков и пономарей; так, далее, во второй период мятежа в числе возмутителей населения в г. Осе были поп и дьякон, в селе „Горах" тоже поп и дьякон [2]. Но такие активные пугачевцы среди духовенства были редким исключением; большинство духовенства, перешедшего на сторону Пугачева, сыграло пассивную роль: оно присоединялось к движению—по писанию—„страха ради иудейска", согласно своей вековой привычке подчиняться предержащей власти, которая в данный момент являлась в образе „государя Петра Феодоровича"...

И вот не только бельцы, но и монахи, преклонялись перед Пугачевым, становились перед ним на колена, лишь бы он сохранил им жизнь. Иной раз поп первый из городского населения спешил присягнуть самозванцу. Пугачев приказывал встречать его честь-честью, с духовенством, с иконами, хоругвями, и попы поднимали все эти реликвии и шли с ними, при звоне колоколов, встречать своего „государя" и затем, по его повелению, приводить жителей к присяге. Эти иконы и хоругви, несомые духовенством навстречу Пугачеву, более принесли ему пользы, чем те пушки, которые в первом периоде мятежа доставлял Пугачеву с заводов разбойник и каторжник Хлопуша, или те пушки, которые тогда и потом самозванец забирал в занятых им крепостях и городах. Религиозная процессия с православным духовенством во главе неопровержимо внушала и колеблющимся, что к ним грядет подлинный, а не самозванный царь, и восстание крепло и, разгораясь все более и более,

[1] Соловьев. Истор. России, т. XXIX, 156—162.
[2] Рукопись Музея отечеств. Каз. университета.

под конец, несмотря на нерешительность Пугачева и его поспешное отступление к югу, захватило громаднейшую территорию, почти половину России, и произвело сильнейшее брожение в ее другой половине. После окончательного поражения и ареста Пугачева это грандиозное восстание было быстро подавлено, но глухое недовольство и брожение остались [1].

Уже после казни Пугачева по заводам бродили агитаторы с самозванческими указами. Таков, например, как это усматривается из одного архивного документа, казак Иван Михайлов Тангин, приехавший на Авзяно-Петровский завод дворянина Евдокима Демидова; здесь казак всюду, в том числе на свадьбе приписного крестьянина, „разглашал": „еду к старшинам с указами; а об вас (приписных крестьянах) читали в Табынске на базаре указ, что вам не быть по заводам, но завтра приедет к вам наш табынский писарь и с ним двое казаков с указом же определить вас на место в Казани, а за Демидовым вашим приехали в Уфу из Казани 6 человек гренадер и, заковав в железо, увезли в Казань" [2]... Трудно было расстаться с несбывшимися грезами...

---

[1] „Русск. Стар.", 1896 г., т. 86, стр. 142.

[2] Архив бывш. Горного департамента, дело по берг-коллегии, № книги 2.070, № дела 12.

VI.

Интересы, наиболее ясно раскрывшиеся во время пугачевщины.

Народ верил, что он поднялся не только за себя, но и за государя Петра Феодоровича. В этом заключалась сила Пугачева, и в этом смысле он был опасен для правительства и дворянства. Пугачев олицетворил в себе старую народно-монархическую идею, что только царь—настоящий заступник народа, истинный радетель об его кровных интересах. Когда Пугачев при содействии яицких казаков поднял царское знамя восстания, то народ сделал практический вывод из означенной идеи; если царь пошел против „бояр" за „чернь", то надо, по его слову, поддержать его дело, ибо в данном случае его дело—дело всего народа. Значит, народ, поднявшись на господ ради осуществления своих интересов, был убежден, что в то же время, исполняя волю царя, он осуществляет его царские интересы, борется за своего царя.

Таким образом, обретенный, явившийся для „черни", царь имел для мятежа немалое значение: он был необходим для движения, как его оправдание в духе старинной, полумистической народной веры в царя. Народ мыслит образами, и потому неудивительно, что, пока Пугачев носился на свободе, он, и пораженный, оставался царем; с поимкой же его народное воображение было потрясено, в нем произошла страшная пертурбация, и народ сразу впал в состояние полного недоумения, не зная, что и подумать о том, кого так недавно он считал своим царем и кто теперь сидел в железной клетке бояр и „матушки импе-

ратрицы". Это смятенное психологическое состояние масс, коим возмущенная совесть народа сразу была придавлена, явилось хорошим помощником тем суровым репрессиям, которые были предприняты правительством для подавления движения после ареста Пугачева, и в этой массовой психологии лежит во всяком случае одна из разгадок сравнительно быстрого потушения пугачевщины с того момента, когда всюду пронесся слух, что „государь" пойман и что это—не „государь", а донской казак Емелька Пугачев.

Итак, сразу всем бросающийся в глаза, так сказать, казовый интерес пугачевщины, это — царский интерес: восстановление на царство „истинного" государя. Когда вожаки яицких казаков задумывали арестовать Пугачева, то этому встречалось сильное препятствие именно в том, что общенародное мнение было на его стороне: „все без из'ятия, — показывал впоследствии Иван Творогов, — почитали его за истинного государя". Истинный государь стоит за народ; это убеждение было исходным пунктом всего политического мышления русского народа, сообщавшегося и инородцам; и, рассуждая именно с этой точки зрения, народная мысль, возбужденная обещаниями Пугачева, легко приходила к убеждению, что человек, называющий себя императором Петром Феодоровичем, — „истинный, подлинный государь". „Подлинно, — агитировал крестьянин среди своих односельчан, — государь Петр III император восходит попрежнему на царство. Был он по всему государству и разведывал тайно обиды и отягощения крестьян от бояр. Хотел он три года о себе не давать знать, но не мог претерпеть народного разорения и тягости".

В основе пугачевщины лежали именно „эти обиды, отягощения и разорения", о которых говорил крестьянин; без них не было бы пугачевщины, как раньше не было бы разиновщины и всех народных движений в мире; но в данном случае народ поднялся по „царскому" кличу прежде всего для того, чтобы помочь войти на царство государю, радеющему о черни и потому истинному... Царь и народ — вот политическая проблема пугачевщины, навеянная политико-социальным и духовным состоянием народа. Вдвойне — политически и социально — порабощен-

ный, прошедший вековую школу самодержавия, забитый и темный народ был не в состоянии представить себе государственного управления без царя и потому боролся за его торжество; но этот народ, при всей своей приниженности, желал, чтобы царь существовал только для него, для „черни“, чтобы только народные интересы были ему дороги; и народ верил, что этот царь, о котором он слышал столько чудес, будет именно таким, что при нем настанет другое время, время простонародного мужицкого царства. „Настанет наше время, — толковали в народе, — теперь мы возьмем верх и опасаться нам нечего“.

Это настроение народа и его заветный политический идеал разделялись и Пугачевым и теми слоями, из которых он явился перед народом в качестве императора Петра III, т.-е. раскольничьими и казачьими слоями; да и не могли не разделяться, ибо эти слои были плоть от плоти и кость от кости народа. Выше мы высказали предположение, что самая мысль о скрывающемся и имеющем явиться государе, столь успешно воспринятая народной массой, впервые была пущена в ход ее руководителями из раскольников. На основании того, что известно о первоначальных мытарствах Пугачева и о бегстве его с Дона, можно доказывать, что и осуществление означенной мысли этим беглецом было энергично поддержано раскольниками. Это видно уже из того, что бегство Пугачева из казанской тюрьмы было организовано одним из уважаемых среди раскольников людей — казанским купцом Щолоковым. Значит, этому миру нужен был Пугачев, и нетрудно догадаться, что он нужен был, как человек, уже дерзнувший об‘явить себя тем, о ком в раскольничьей среде сохранилась благодарная память. Реабилитация двуперстного сложения и бороды в манифестах Пугачева, как нельзя лучше, отвечала той надежде, которую раскольничий мир, можно думать, возлагал на задуманную отважную авантюру. Что активным вдохновителем пугачевского движения был раскольничий мир, столь близкий по умственным и моральным симпатиям простому народу, на это указывает и то обстоятельство, что „расколы кержаков“ очень озабочивали правительство во время пугачевщины. Так, после бегства Пуга

чева из-под Казани было велено внимательно наблюдать за Керженцем, который, как известно, был одним из важнейших центров раскола. В раскольничьем мире шло сильное брожение. Из подлинного дела о пугачевском бунте видно, что по местам велась пропаганда раскольничьих тенденций—старой веры. В Саратове читалась келейно раскольничья библия; свидетель, сообщивший об этом, показал, что и раньше „ту библию от Савича слыхал с братом своим Горбуновым, и показание его о том истинное“ [1]. Словом, раскольники идейно держались крепко, вербуя себе новых последователей.

Если сам Пугачев и не был раскольником, то все же внутренно он более тяготел к „старой вере“, чем к государственной церкви, и в этом нет ничего странного, ибо в великороссийском—донском, волжском и яицком казачестве раскол свил себе прочное гнездо. Во всяком случае, Пугачев, по свидетельству его бывшего полковника Верхоланцева, „одобрял“ „расколы кержаков“, чем и „много выигрывал“ [2]. Выигрывал, разумеется, в поддержке именно с этой стороны. От времени, близкого к изучаемой эпохе, дошло до нас свидетельство, что раскольники подкрепляли Пугачева деньгами, и человек, сообщивший это, был убежден, что Пугачев был орудием раскольников [3]. Действительно, едва ли можно сомневаться, что раскольничий мир создал легенду о скрывающемся и имеющем явиться Петре III; ибо, если бы это было не так, то никогда бы Петр III в раскольничьем воображении не сделался искупителем и Христом, никогда бы, иначе говоря, он не был канонизован раскольниками. Этот мистический образ Петра III, созданный расколом, — лучшее доказательство того, что именно здесь возникла означенная легенда; а раз это так, то понятно стремление раскольников осуществить мысль легенды в своих реальных интересах. Выше, в I-й главе

---

[1] Государств. архив, VI, 512—1, л. 96; VI, 512—2, лл. 375, 377 и 379. См. также мои „примечания“ в сочинениях Пушкина, изданных Академией Наук, т. XI, стр. 203.

[2] Рукоп. Муз. отеч. Каз. унив.

[3] Из писем Поздеева. „Русская Старина“, 1872 г., т. X, стр. 1879 и 1880, письмо 1816 г. См. также „Русск. Стар.“, т. 97 стр. 623.

были намечены социологический и психологический мотивы возникновения легенды о Петре III; показания, касающиеся участия раскольников в пугачевщине, дают нам право утверждать, что раскол, пустив в ход мысль о скором появлении Петра III, явился вдохновителем пугачевского предприятия; а когда оно было начато и развилось в пугачевщину, — поощрителем; в лице же яицких казаков-раскольников—даже и руководителем. Непосредственному влиянию этих казаков надо приписать то, что Пугачев и его сподвижники - нераскольники, вроде Белобородова, „одобряли расколы кержаков" и что в манифестах Пугачева определенно и тщательно обеспечивались главнейшие основы „старой, правой веры". Обеспечить навсегда эти основы— крест и бороду — было, конечно, той целью, ради которой раскол так энергично ухватился за пропаганду Петра III, как царя — благодетеля для „черни". Эта пропаганда тоже вскрывается в манифестах Пугачева: они призывали стоять за старую веру и черни помочь. Следовательно, старая вера должна была войти как бы третьим членом в союз царя с народом: царь, выступающий на помощь „черни", разумеется, не мог не усилить народных симпатий к старой вере, за которую он тоже встал, как за истинное, непризнанное властителями, правоверие на Руси. Царь, народ и старая вера—вот те устои, на которых, по мнению Пугачева и его сообщников, должно было утвердиться государство. Отсюда понятно, почему истинный царь, народ и старая вера, при наличной степени умственного развития и вообще культуры, оказывались весьма удобными лозунгами, во имя которых можно было возбудить и развивать пугачевское движение. Но необыкновенная агитаторская сила этих лозунгов, которую они обнаружили во время пугачевщины, об'ясняется, конечно, реальным состоянием народных масс, состоянием, как мы видели, безвыходным. Выход нашелся, когда явился „истинный царь" и кликнул клич...

Теперь мы должны подчеркнуть те реальные интересы, которые заставили разные разряды населения с доверием и живо откликнуться на давно жданный зов и превратить всей „черни" понятные лозунги в грозный и зловещий набат.

Яицкое казачество начало восстание. Выше мы видели, что ему было не в мочь то состояние, в которое оно было поставлено петербургским бюрократическим управлением. Понятно, что яицкие казаки стремились к признанию не одной „старой веры", желанной не только им, но и всем, ее державшимся, и всем, к ней тяготевшим; они стремились—и это прежде всего—к специально казацкой вольности, о которой болело казацкое сердце, тем более, что без нее казаки перестали быть настоящими господами Яика и всех благодатных его угодий. И вот первый манифест Пугачева жалует яицкое войско „рякою с вершин и до усья и землею, и травами и денежным жалованьям, и свинцом и порахам и хлебным провиянтам" [1] (11 сентября 1773 г.). В одном из последующих манифестов подробнее перечисляются чаяния яицкого казачества, которые оно вознамерилось осуществить при помощи восстания под знаменем Петра III: тут вместе с крестом и бородой обещается и „река, и земля, и травы, и моря, и денежное жалованье, и хлебный провиант, и свинец, и порох, и вечная вольность". Стоило похлопотать о вечно-вольном владении Яиком, ибо действительно это был богатый край, горячо любимый его сынами: недаром они называли Яик „золотым донышком с серебряной покрышечкой" [2]. Политическая борьба с правительством за казацкую вольность, за самостоятельность—вот чем, главным образом, характеризуется собственно восстание яицких казаков под знаменами Пугачева. Так и сами казаки определяли характер своего движения. После мятежей перед пугачевщиной, при подавлении которых, как известно, не было недостатка в жестокости, яицкие казаки по старине, как в разинскую пору, величая российскую державу „Москвою", говорили: „То ли еще будет? Так ли мы тряхнем Москвой!" Во всяком случае, дорога в хорошо им знакомый с самой нехорошей стороны Петербург была через столицу прежнего московского царства: туда, в Москву, и звали Пугачева яицкие руководители восстания, понимая, что политический вопрос, ими поставленный, в благопри-

[1] Орфография подлинника.
[2] В. Н. Витевский. Раскол в уральск. войске, 5.

ятном для них смысле может быть решен лишь по занятии „государем“ Москвы. Местные яицкие патриоты вовсе, однако, не желали из старого политического центра российской державы делать центр своего государства, создать которое мечтали наиболее фантастические головы. Нет, исключительная приверженность их к своим местам, к Яику, настраивала их политическое честолюбие совсем иначе; это были убежденные сепаратисты, и их пылкая фантазия рисовала им заманчивую перспективу владычества над всею Русью из своего, милого их сердцу, края, перспективу создания, стало быть, нового политического центра с истинным и притом своим „государем“! Существует рассказ, что однажды новая супруга Пугачева, яицкая казачка Устинья Кузнецова, внезапно заплакала, находясь в кругу своих родственников. Ее спросили: „О чем ты, матушка-царица, плачешь?“—„Как мне не плакать?—ответила печальная „царица“,—ведь, когда Петр Феодорович возьмет Москву, я стану жить в Москве, расстанусь с вами, родные“.—„Эка ты дура, матушка-царица! Ведь Москвой-то будет Яик!..“ [1].—Так родственники утешали свою „царицу“, и тут, несомненно, сказалась самая заветная политическая мечта яицкого казака-повстанца. Итак, ясно, что политический интерес, сводящийся к стремлению, по меньшей мере, улучшить свое положение, возвратить себе прежнюю вольность,—вот та главная пружина, которая всколыхнула наиболее радикально настроенную часть яицкого казачества и двинула ее за Пугачевым. Последний в глазах его первых, знавших его самозванство, сообщников был подходящим орудием для того, чтобы „тряхнуть Москвой“ и добиться „вольности“; не яицкие казаки создали Пугачева, как Петра III,—таким его сделало всеобщее народное ожидание „истинного государя“, возбуждаемое раскольничьими слоями народа; но главари яицкой оппозиции приняли и признали его для осуществления своего сепаратистского стремления сделать Яик вольным и самостоятельным. Бибиков называл Пугачева „чучелом, которым играют яицкие казаки“, и это

[1] Рукопись Музея отечествоведения Каз. унив.

совершенно верно и в том смысле, что, при помощи „государя Петра Феодоровича“ (истинное происхождение которого заводчики восстания знали, но в которого в то же время очень многие яицкие казаки, в том числе и некоторые из начальников повстанцев, верили, как в настоящего царя), яицкие казаки хотели добиться осуществления своих чисто казацких интересов. Пугачев прекрасно понимал эти собственно казацкие интересы, потому что он сам был казак, и все казацкое его сердцу было ближе, чем что бы то ни было иное. И когда Пугачев приказывал передававшимся ему военным командам стричь головы по-казацки или собрать казачий круг и выбрать начальников, то он, несомненно, делал это не только в угоду окружавшим его яицким казакам, согласившимся стать его „подданными“, но и потому, что, будучи сам казаком, он и в качестве „государя“ не мог освободиться от сочувствия казацким обычаям и, вообще, всему казацкому строю жизни. Таким образом, мечтая о полной местной автономии, яицкие руководители движения не могли заподозрить со стороны своего „государя“ опасности их казацкому жизненному укладу; следовательно, не один, так сказать, внешне-политический интерес, т.-е. невмешательство в казацкие дела из Петербурга, но и внутренний распорядок (владение рекой и угодьями и управление, посредством казацкого круга, на общинном начале), так сказать—социально-экономический интерес, как его понимали казаки, должен был казаться им обеспеченным при таком их собственном „государе“.

Подобно яицким казакам, и инородцы, поднимаясь по кличу самозванца, преследовали главным образом свои собственные интересы. Выше было указано тяжелое положение башкир, почему нисколько не удивительно, что их вожди, разные Юлаи, Салаваты, примкнули к появившемуся „государю“ и пожелали, посредством таким путем легализированного мятежа, улучшить это положение, возвратить своему народу его родные леса и степи. Пугачев обещал им вывести из Башкирии русское население. Магометанское духовенство, руководившее прежними башкирскими восстаниями, мечтало создать в башкирских землях неза-

висимое ханство [1], и эта политическая мечта воодушевляла башкир в их новой борьбе с русскою властью и покровительствуемым ею капиталом, в борьбе под знаменами русского же царя, не скупившегося на обещания башкирскому народу всяческих льгот и освобождения от произвола общих и заводских властей. От башкир „мир православный плакал", как выразился один казацкий атаман „в нижайшем рапорте", жалующемся на их набеги и просившем обороны от них; жаловались казаки и на то, что башкиры, убив 4-х из их братии и избив их жен, поставили последних на колена, принуждали целовать „руку одного из башкир в знак повиновения злодею" и об'являли, что посланы Пугачевым „для приведения к корану всякого русского человека, и, если кто не будет целовать руку и в него веровать, того они будут закалывать копьями" [2].

Другим частям инородческого мира жилось, как известно, тоже нелегко. Гнет администрации был тому общей причиной. В частности мордва, черемисы и др. имели особые причины быть недовольными. У этих инородцев не было помещика, но у них был поп, который, будучи не столько духовным отцом, сколько командиром, в то же время недурно играл роль „помещика". Храм был его вотчиной, и поп хорошо от него кормился, не стесняясь в поборах со своей паствы: послушных, кротких овец он стриг так усердно, как, по его понятиям, подобало ревностному пастырю стада Христова. Удивительно ли после этого, что один из самых кровных интересов этого инородческого населения, которые оно стремилось осуществить, присоединяясь к пугачевскому движению, сводился к освобождению его от присосавшегося к нему духовенства? Когда из Сундыря Пугачев с толпой двинулся вверх по Суре и проходил мордовскими и черемисскими деревнями, то, по сообщению Верхоланцева, „жители их более всего жаловались на духовных лиц за их поборы и пр." [3].

---

[1] Н. А. Фирсов. Инородческое население прежнего казанского царства, стр. 228 и 229.

[2] Дмитриев-Мамонов. Пугачевский бунт в Зауралье и Сибири, С.-Петерб., 1907 г., стран. 34 и 35.

[3] Рукопись Музея отечествоведения Каз. унив.

Но главнейшие интересы, на которые опиралось пугачевское движение, это—интересы крепостного крестьянства. „Воля"—вот тот могущественный клич, который прямо шел к крестьянскому сердцу и находил в нем энергичный отклик. Припомнив все сказанное выше о положении крепостных, мы поймем все глубокое значение этого насущнейшего для них интереса—освобождения от господской неволи. Недаром еще тогда, когда мятеж не обратился в жакерию, высшая администрация очень беспокоилась, зная, какую реальную силу имеет указанный интерес крестьянства. Так, оренбургский губернатор определенно высказывал опасение, как бы Пугачев не двинулся в Казанскую губернию и не преклонил бы крестьян к себе вольностью [1]. Эту самую „вольность", освобождение от крепостного рабства, Пугачев, как и ожидали, обещал в первую голову в своих манифестах к народу, которые, по их полному соответствию с основным наболевшим интересом крепостных, и вызывали в душе белого раба столько веры в пришедшего „истинного царя", окрыляли душу раба надеждой и даже уверенностью, что настало время дарованной свыше свободы. Другие интересы крестьянства тесно примыкали к основному, к освобождению от крепостной неволи, ибо эта неволя тогда была самым существенным злом, и освобождение от нее рисовалось в народном воображении, как наступление желанной поры всяческих льгот, о которых так ныло крестьянское сердце. „Теперешнее положение нам несносно,—говорили крестьяне,—ибо большие дворяне награждаются деревнями и деньгами, а нам нет льготы". Значит, надо было изменить этот порядок, при котором большим дворянам—деревни и деньги, а крестьянам—одни тягости, т.-е. отнять права на такие блага у дворян и освободить от всех социальных и финансовых обязанностей крестьянство, разумеется, не только крепостное, но и другие его разряды, которые тоже рвались из фискального ярма к льготам, к лучшей, свободной жизни. Пугачевцы—уральские и красноуфимские казаки с башкирами—знали, что делали, когда, по рассказу современника, подскакивали поближе к фронту

[1] Дубровин, цит. соч., II, 49.

воинской команды и кричали: „Выдайте нам только полковника с офицерами, а вас всех батюшка прощает и пожалует деньгами и от податей сделает свободными“ [1]. Они именем „батюшки-царя“ затрогивали самые чувствительные струны подневольных и угнетенных людей, вызывая в них надежду на иную, заманчивую жизнь, жизнь свободную и вдобавок с деньгами. Эту именно свободную жизнь, в которой не будет ни крепостной, ни заводской неволи, ни рекрутов, ни подушных, ни других податей и всяких многочисленных сборов и повинностей, ни мздоимства чиновников, и обещали народу пугачевские манифесты. Читая эти своеобразные прокламации, мы в них видим довольно отчетливое обозначение того, чего не должно быть, дабы осуществился идеал свободной и спокойной жизни для народа, но в них мы, при всем желании, далеко не найдем такой же ясности в выражении того, что должно быть в государстве для осуществления того же народного идеала свободы и покоя. Не будет всего того, что было тяжелого в жизни для черни, не будет даже целого общественного класса, владевшего народным трудом,—дворянства, обреченного на истребление, а что же будет? Тишина и свободная, спокойная жизнь, а в ней „древний крест, молитва, головы и бороды“, „вечно казаки“, безоброчное пользование, и в то же время—„верноподданные рабы собственной нашей короны“, в числе которых Пугачев в своих весьма противоречивых речах иногда оставлял и „бояр“: таковых, за отобранием у них „сел и деревень“, он намеревался „жаловать деньгами“. Так раскольничьи чаяния и казацкий идеал общественного устройства причудливо сочетались с освободительными стремлениями крестьянства и с традициями—официальными и народными—русского самодержавия, пред лицом коего все верноподданные должны быть „рабами“. Так крепостные соглашались вместо многих „господ“ подчиниться одному барину—царю, но своему „мужицкому“ царю. Ясно одно: народ и Пугачев с товарищами хорошо понимали, отчего положение черни несносно; отсюда, отри-

[1] „Русская Старина“, 1904 г., кн. 6-я: „Против Пугачева“ (из записок современника), стр. 652.

цательная часть манифестов, шедших навстречу интересам народа, так радикально определенна: она точно намечает насущные тогда крестьянские интересы. Они сводились именно к „вольности", и уничтожение всяких обязательств по отношению к барину и государству, и даже уничтожение самого барина и прежнего барского государства представлялось лучшим путем к этой „вольности". Аграрный вопрос в нашем современном смысле, в смысле крестьянского малоземелья, тогда не народился. Под крестьянской пашней, за немногими исключениями, было достаточно земли, и главная беда заключалась, как мы видели выше, в том, что в социальной неволе далеко не всегда можно было ее обработать: так что в социальном вопросе тонул и вопрос о земле, не столько о ее принадлежности, сколько о свободной ее обработке; при той же радикальной постановке социального вопроса, которую наметила пугачевщина, о земле в этот момент много не приходилось хлопотать: она, за упразднением дворянства, сама собой должна была остаться в руках крестьянства. Однако нельзя сказать, чтобы крестьянство той поры спокойно относилось к поземельным счетам там, где они возникали: напротив, при всяком посягательстве на землю, которую крестьяне считали своею, они, „собравшись великою ватагою", были всегда готовы принять в колья непрошенных межевщиков... [1]. И потому Пугачев, зная ревнивое отношение крестьян к земле, жаловал их сверх „вольности" и землями, и великими угодьями „без покупки (выкупа) и оброка", но, несмотря на это, все-таки не недостаток земли, а отсутствие воли и льгот — вот что было краеугольным камнем, на котором зиждилась в то время народная психология, созданная преобладающим интересом народных масс. Пугачев с товарищами хорошо понимали этот преобладающий интерес, который потому и нашел себе наиболее ясное и определенное выражение в пугачевских манифестах. Политический интерес крестьянства, как известно, не шел дальше того, чтобы добиться утверждения „настоящего царя" — истинного радетеля о пользах простого народа, но в то же время по-

[1] Записки Болотова, т. III, стр. 225, 230.

литическое мышление крестьянства, попрежнему, с сочувствием останавливалось на другой форме общественного устройства—казацкой, не давая себе ясного отчета, как „рабы“ хотя бы и „истинного государя“ будут вольными казаками. В синтезе этих политических симпатий и стремлений крестьянства получалось все-таки большее тяготение к самодержавному владыке, чем к полновластному казацкому кругу, столь любезному для настоящего казачества. Казаки смотрели на Петра III просто как на орудие своих целей. Но, строго говоря, в манифестах Пугачева самодержавие и должно было заслонять собой казачество, ибо манифесты выходили от „самодержца“ „божиею милостию“. Едва ли однако приверженность простого народа принципу самодержавия могла быть непоколебимо-устойчивой, как думали многие, забывая не только об изменяющихся реальных условиях жизни, производства и распределения, но также и о том, что в прошлом русский народ, кроме абсолютистско-монархической, выработал и другую форму правления—казацко-республиканскую, созданную наиболее активными, оппозиционными элементами низших классов. Но в XVIII стол, до республики, хотя бы и казацкой для всей России, еще было далеко. Тогда в темном сознании крестьянских масс более ярко обрисовывался фантастический образ „самодержца“ без господ, чем возможность совсем обойтись без царя при казацком общественном устройстве: только при таком изображении народного политического сознания и может быть об'яснен успех самозванства в России. Народу потребовался самодержец, на спрос явилось предложение из народной же среды; народ сочувственно относился к казачеству, и оно новоявленным „самодержцем“ из казаков обещалось ему на вечные времена... Громадное большинство народа—крестьянство: его интересы, социальные и политические, были самыми основными интересами пугачевщины. „Жалуем,—говорил Пугачев в своем манифесте, по переходе Волги — сим именным указом, с монаршим и отеческим нашим милосердием, всем находящимся прежде в крестьянстве и подданстве помещиков, быть верноподданными рабами собственно нашей короны и награждаем

древним крестом и молитвою, головами и бородами, вольностью и свободою, вечно казаками, не требуя рекрутских наборов, подушных и прочих денежных податей, во владение землями, лесными, сенокосными угодьями, рыбными ловлями, соляными озерами без покупки и без оброку и освобождаем от всех прежде чинимых— от злодеев дворян, градских мздоимцев и судей—крестьянам и всему народу налагаемых податей и отягощениев"... И далее: „А как ныне имя наше властию всевышней десницы в России процветает, того ради повелеваем сим нашим именным указом: кои дворяне в своих поместьях и вотчинах (находятся), оных противников нашей власти, возмутителей империи и разорителей крестьян, ловить, казнить и вешать и поступать равным образом так, как они, не имея в себе христианства, чинили с своими крестьянами, по истреблении которых противников и злодеев дворян всякий может восчувствовать тишину, спокойную жизнь, кои до века и продолжаться будут" [1].

Все это как нельзя лучше отвечало мировоззрению тех, к кому обращалось, и несомненно, как всегда бывает в подобных случаях, содействовало развитию народной трагедии, давно подготовлявшейся самыми условиями жизни крестьян и достигшей своего кровавого апогея в пугачевской жакерии.

---

[1] Пушкин, цит. соч., 96; Щебальский, цит. соч., 76, 77; Дубровин, III, 53, 112; Романович-Славатинский, Дворянство в России, 361.

VII.

Чувства и поступки пугачевщины.

Кто не знает, что психология народного мятежа—страшная психология. Чувства ненависти и мести, воспитанные в народной психике бесконечным рядом лет бесправия, произвола, унижений и всяческого гнета, но чувства, сдерживаемые господствующим порядком и страхом его жестоких кар, становятся внезапно активными, действующими психическими силами, лишь только хотя бы на миг один коллективному сознанию низших слоев населения представится, что пришло, наконец, время, когда можно покончить и со страданьем вековым, и с вековым рабством народа. Таким мигом была и наша пугачевщина: чувства ненависти к господам, мести им за все их злые дела властно охватили простой народ и роковым образом, так сказать—импульсивно, влекли его к соответствующим волевым актам-поступкам. Болотов отлично понял всю глубину крестьянской ненависти, когда уговаривал новобранцев, посылаемых против Пугачева, и получил от одного из них в ответ резкий отпор—„злодейскую“ усмешку и заявление: „Стал бы я бить свою братию! А разве вас, бояр, так готов буду десятерых посадить на копье сие“. Болотов, услыхав такие речи, сначала „оцепенел“, затем обругался и „подумал“: „Вот каковы защитники и оборонители в сердцах своих, и вот жди от них доброго“ [1]. —Да, в крестьянских „сердцах“ было нечто неблагополучное для дворян. Тот же Болотов положительно свидетельствует, что в разгар пугачев-

[1] Записки, III, 440—441.

щины „дворяне удостоверены были, что вся подлость и чернь, а особливо все хамство и наши слуги, когда не в'явь, так в тайне, сердцами своими были злодею сему преданы, и в сердцах своих вообще все бунтовали, и готовы были при малейшей возгоревшей искре произвести огонь и полымя". Когда в Москве распространился слух, что Пугачев двинулся к Москве, то здесь дворяне ожидали, „что при самом отдаленнейшем еще приближении его к Москве вспыхнет в ней пламя бунта и народного мятежа, и... почитали себя в таком случае погибшими и не знали, что делать и к каким мыслям прилепиться" [1]... Действительно, как это хорошо было понятно дворянам, наступило для них страшное время—„прекровожаждущий на благородных рыск", по выражению поэта Державина, состоявшего и в числе усмирителей. Этот „рыск" был энергичнее и беспощаднее от уверенности крестьян в том, что истреблять помещиков приказано государем. Сам Пугачев, об'явивший смертный приговор всему российскому дворянству, при каждом удобном случае подчеркивавший свою ненависть к „помещикам и боярам", с самого начала и до конца своей „императорской" карьеры показывал бесчисленные примеры того, как надо поступать с захваченными начальствующими лицами, офицерами, помещиками, их женами и детьми... Вешая и убивая „благородных" всяческими способами, Пугачев нередко прибегал к таким формам казни, какие только и можно об'яснить именно той глубокой ненавистью его к господам, которая клокотала в его сердце и которую—он это знал—разделяет весь смотревший на него, как на царя-мстителя за прежние обиды „черни", весь простой народ. Горе было особенно тем „благородным", на которых их подчиненные или крестьяне доносили, как на людей жестоких: таким не было ни малейшей пощады, их ждала страшная кара... Генерал Цыплятев, выданный своими собственными крепостными Пугачеву за жестокое обращение с ними, был казнен так: ему сначала отесали бока, а когда он упал, то в рот воткнули кол; с несчастным вместе погибло и его

[1] Записки, III, 377 и 378.

семейство: детей и жену Цыплятева повесили [1]. Повешенье было излюбленной „императором“ формой казни. Вешал Пугачев всюду, где только появлялся. Так, например, по сообщению офицера Чемесова, Пугачев, идя к Саратову, „по тракту своему великое множество дворян перевешал“, да и вообще „много вешал и казнил офицеров и дворян“ [2]. По рассказу Пушкина, в Саратове Пугачевым были повешены все дворяне, попавшие в его руки [3]. Неудивительно, что в воспоминаниях очевидцев о Пугачеве он фигурирует, как „государь“, в присутствии которого постоянно „вздергивали“. „Бывало, он сидит,—рассказывала впоследствии одна старуха, видавшая Пугачева, когда была молодою девушкой, лет двадцати, — на колени положит платок, на платок руку; по сторонам сидят его енаралы: один держит серебряный топор, того и гляди, что срубит, другой—серебряный меч; супротив виселица, а около мы на коленах присягаем; присягаем, да по очереди, перекрестившись, руку у него поцелуем, а меж тем на виселицу-то беспрестанно вздергивают“ [4].—Обуреваемый своею и окружающих ненавистью к правящему классу, Пугачев по временам впадал в полное исступление и в таком состоянии, казалось, готов был истребить всю ту жизнь, которая так или иначе напоминала ему о господстве дворянства. Так, однажды Пугачев, заняв под Оренбургом в губернаторском хуторе барские хоромы и устроив в них попойку, велел разрушить всю роскошную обстановку богатого дома, приговаривая: „Вот, как славно живут мои губернаторы, а на что им такие покои, когда я сам, как видите, живу просто“.—Не только барских дворцов, Пугачев не щадил нередко и храмов; „он давал свободу,—говорит один из пугачевцев,—приверженцам своим, большею частью из кержаков яицких (т.-е. из раскольников), грабить святые храмы: на это проклятые изуверы сии,—прибавляет этот свидетель, — были до ожесточения дерзки“ [5]. Действительно,

---

[1] Рукопись Муз. отечеств.
[2] „Русская Старина“, т. 72, стр. 2 и 3.
[3] Истор. Пугач. бунта, 104.
[4] „Русский Архив“, 1902 г., II, 659.
[5] Рукопись Муз. отечеств.

отношение к храмам многих приверженцев Пугачева было таково, что было способно возмутить религиозное чувство других, не ушедших в раскол: в храмы въезжали на лошадях, стреляли в образа, доходили до того, что иконы, писанные на холсте, употребляли в качестве потников под седлами, а в уста Распятого вбивали гвоздь [1]. Очевидно, Пугачев в угоду раскольникам, своим сторонникам, допускал и святотатство и кощунство по отношению к господствующей религии, против которой протест не в первый раз связывался с политической и социальной борьбой. Итак, чувство ненависти было преобладающим чувством инсургентов. Оно-то и глушило не только в душе Пугачева и его ближайших сообщников, но и всего поднимавшегося против господ народа, все добрые, жившие в нем, чувства, заставлявшие и тогда многих из простых людей жалеть погибавших, а потом вспоминать с ужасом о пережитом „черном годе". Это черное чувство туманило головы масс, и они всюду, где и не было Пугачева, руководимые своими второстепенными вождями, совершали те же самые поступки, как и Пугачев со своей военной коллегией и его „енаралы" со своими подобными же штабами. Таков, например, бывший помещичий слуга, произведенный Пугачевым в полковники, Фирсов, поднимавший „чернь" в Симбирском уезде, где она, по свидетельству Рычкова, „едва ли не вся взволновалась и устремилась на убийство и грабление дворян". Восстание народа здесь было настолько единодушно, что „самый город" (Симбирск) „был угрожаем нападением и погибелью". У пугачевского полковника Фирсова было „злодейское сборище" в 700 человек, но ему передались все корсунские жители, последствием чего была, между прочим, гибель Рычкова-сына, не убоявшегося „великого их людства", как говорит Рычков-отец в своих записках [2]. И всюду на обширном пространстве, охваченном мятежом, „благородные" падали жертвой „прекровожаждущего рыска". „Распущенные,— читаем мы в одном всенижайшем рапорте управляющего, написанном из Симбирска барину-графу,—по

[1] Дубровин, цит. соч., II, 32, 38.
[2] „Русский Архив", 1905 г., II, 335 и 336.

Саранскому, Пензенскому и прочим уездам воровские многолюдные толпы близ вотчин вашего сиятельства и винокуренного Чембирлеевского завода, рыская своим бесчеловечным свирепством и всех попавших в их руки господ помещиков, приказчиков и всякого звания начальников умерщвляли и умерщвляют смертно" [1]. Близок был к смерти и автор „рапорта": „Мне, — жалуется он в другом послании,—мужики иные в глаза сказали и в брюхо палкой тыкали, и бранили поматерну: надо, де, тебя и с Козыревым повесить; моли, де, он бога Козырев, что уехал". „И нынеча, — прибавляет „управитель",—великие мятежи и зверища собираются, ста по четыре и более вешают и рубят". Потрясенный происходившим избиением дворян и их помощников крепостными, управляющий полагает, что всего и „описать невозможно": „столько много перевешано и переколото". Это была месть народа своим насильникам и обидчикам; все теперь припомнилось, припомнилось немало помещичьих преступлений против женской чести. Радищев рассказывает, что однажды крестьяне, связав своего господина, повели на казнь. „Какая тому была причина?"—спрашивает наш автор и отвечает: „он был господин человеколюбивый, но муж не был безопасен в своей жене, отец в дочери: каждую ночь посланные его приводили к нему на жертву бесчестия ту, которую он того дня назначил. Известно же в деревне было, что он омерзил 60 девиц, лишив их непорочности". Этого „человеколюбивого господина", „гистория" которого была небезызвестна Екатерине, „выручила" подоспевшая команда [2], но другие многие подобные „женолюбивые" помещики не избежали своей лютой участи. Длиннейший синодик погибших от Пугачева и пугачевцев, напечатанный Пушкиным, весьма красноречиво свидетельствует, как интенсивен был этот „рыск", как, иначе говоря, жгуче было преобладающее чувство пугачевщины. Именно эту сторону народного мятежа несомненно хотела подчеркнуть умная графиня Блудова, много понаслышавшаяся о пугачевщине,

[1] Арх. кн. Воронцова, т. 25, стр. 432.

[2] Путешествие, лондонское изд., 213 и 214; см. и у В. И. Семевского: Крестьяне, I, 318.

когда писала в своих воспоминаниях, что при Пугачеве, так же, как при Разине и Железняке, „народ пьянел, терял отличительное русское свойство — здравый смысл“ [1], т.-е. народ не помнил себя от охватившей его ярости, затемнившей его сознание, и дворянству в этот момент массового аффекта пришлось очень сильно пострадать. В этом сознании мелькала только одна мысль, что теперь пришло время „черни“, что теперь она все себе может позволить... Самое ощущение такой возможности свободы действий вызвало в народных массах чувство радости жизни и стремление взять от нее все, что она могла дать в наступивший миг „воли“. Так, когда толпа заводских рабочих, зажегши на площади кучу конторских бумаг и кидая в огонь расчетные книги, хохоча, кричала: „горите, наши долги!“ [2], она несомненно наслаждалась тем же ощущением, которым наслаждается колодник, разбивший свои кандалы и ушедший от погони. В таком состоянии духа толпе обыкновенно хочется развернуться, загулять и таким образом, согласно со своими вкусами, отпраздновать свою свободу. Разбиваются кабаки и начинается повальный разгул... Пьяная толпа звереет, окончательно теряет всякую сдержку своим животным инстинктам и злым чувствам и совершает страшные жестокости, всячески истребляя своих „злодеев“, насилуя их жен и дочерей, не щадя и детей, разгромляя и сожигая усадьбы, заводы и целые города... Все это, разумеется, терроризировало правящий класс, но это же все вело к полной деморализации инсургентов, понятно, весьма вредной для боевой их годности; вследствие чего и Пугачев и его сподвижники старались иногда противодействовать поголовному пьянству приставшей к ним толпы. Так, например, в одном заводе, когда мастеровые крестьяне, передавшиеся на сторону Пугачева, бросились в кабак, то распоряжавшийся здесь пугачевский полковник Белобородов приказал выпустить вино из бочек на землю. „Вино,—рассказывает Верхоланцев,—полилось рекой“. Народ однако не отказался от своего стремления загулять: „народ, — сообщает тот же

[1] „Русск. Архив“, 1889 г., I, 73.
[2] Рукопись Муз. отечеств.

очевидец, — бросился на образовавшиеся лужи и с жадностью пил из грязных луж; пьяные бушевали по улицам“ [1].

Сам Пугачев, пользуясь высоким положением, ловил момент наслаждений. То и дело напиваясь на своих официальных обедах, он проявлял также и большое женолюбие. Миловидных дворянок, взятых им в плен, Пугачев обыкновенно брал к себе в наложницы; одна из них, вдова коменданта Харлова, оставила в потомстве наиболее яркую по себе память, вследствие особо трагической своей судьбы: насытившись красавицей, „государь“ приказал ее убить, что и было исполнено. Не довольствуясь пленными дворянками и другими женщинами, постоянно бывшими при нем, Пугачев не оставлял в покое и казачек Яицкого городка. Видя его „наклонности“, казацкие старшины, ради спасения казачек от похищения Пугачевым, даже согласились с его намерением жениться на одной из казацких девиц. По крайней мере, впоследствии так об'яснялся этот пикантный эпизод из жизни пугачевского „двора“. „А как перед сим, — читаем в одном показании, — Пугачев трех девок из Яицкого городка в Берду уже взял и с ними в одной кибитке жил, то старшины, чтобы впредь такого похищения не мог сделать, и при этом видя его наклонности, рассудили согласиться с желанием самозванца“. Но и „старшины“ в этих наклонностях не отставали от Пугачева. Если в слободе Берде, этой резиденции Пугачева, когда он стоял под Оренбургом, царили беспробудное пьянство и самый грязный разврат, то то же самое происходило и без участия Пугачева в селе Чесноковке под Уфой, где господствовал один из самых энергичных пугачевских старшин — Чика-Зарубин или граф Чернышев. „В Чесноковке,—рассказывает Дубровин, — происходило беспрерывное пьянство, разгул и разврат. Вино, деньги, хорошенькие молодые женщины и девушки привозились из окрестностей для удовлетворения сладострастия самозванного графа и его приближенных“. Словом, люди спешили, как и при Разине, насладиться жизнью или,—по более определенному выраже-

[1] Рукоп. Музея отечествоведения.

нию народной песни,—„попить, поесть, поцарствовать". Само собой понятно, что „поцарствовать" удалось всего более тому, кто выставлялся царем, и тем, кто его выставляли, и всего менее той народной массе, которая его признала за такового и таким образом явилась опорой движения... Но все-таки и она „поцарствовала". Пугачевские партии и присоединившиеся к ним крестьяне, чувствуя себя господами положения, полагали, что они имеют полное право на все то, что принадлежало их в эту минуту низвергнутым врагам—помещикам... И они распоряжались барским добром, как своею добычею. Приезжала партия на барский двор, сейчас же—в погреб, „и что было на погребу пива, то все выпили,—сообщает управляющий своему барину,—не столько они (т.-е. люди приехавшей пугачевской партии), сколько наши крестьяне пили",—прибавляет он, видимо желая быть вполне точным. Вообще крестьяне рвались к барскому добру, и приезжавшим к ним пугачевцам не приходилось слишком долго угощать крестьян всем тем, что бог послал на барском дворе и в барском доме. Почва для экспроприации барского имущества была хорошо подготовлена созданными крепостным правом отношениями между помещиками и крестьянами. „Также масло и прочее, — продолжал жаловаться „управитель",—что было на погребу, то все наши крестьяне растащили и столько их собралось, что, я думаю, на святую неделю к обедне столько не собиралось: так смелы—и у этих варваров прибывших пугачевцев из рук рвали". Дальше начался дележ имущества, найденного в хоромах: „обои со стен, с канапе и стульев, что ни было, и с полу все растащили, изодрали, и наши крестьяне по себе разделили; также столы, стулья, панели, двери, ставни,—все крестьяне растащили и по себе разделили". Словом, все разделили: одеяла, даже постель, данную какой-то Терентьевне для Петрушки—„от нее все взяли с миром и все разделили"; даже барскую шубу—„мужики в лоскутья изрезали" и „разделили". Так жаловался управляющий гр. А. Р. Воронцова, вынесший из этого стремления крестьян делить между собой барскую собственность то общее впечатление, что, если бы крестьянам не помешала „команда", то „они бы и стены

разломали и разделили“ [1]. Но такое стремление осуществлялось крестьянами всюду, где свирепствовала пугачевщина; в показаниях воронцовского управляющего мы находим лишь характерное и точное констатирование этого рода поступков пугачевщины. В них проявилось властное отношение народных масс ко всему тому, что было добыто крепостным трудом: в дележе крестьянами не принадлежащего им достояния нельзя не видеть осуществления именно того, чисто народного, трудового убеждения, что на все, принадлежащее высшим, народ имеет свое право, как на созданное им же самим лишь не для себя в обычное время, но долженствующее перейти в руки настоящих собственников-производителей, когда наступило их время... Время это—один миг, но миг, захватывающий дыхание, головокружительный миг фактического господства „черни“ там, где ею был признан настоящий царь, принесший милость, правду и власть настоящим хозяевам русской земли. В грабеже помещичьего достояния во время пугачевщины нельзя, мне кажется, отрицать определенную, так сказать, стихийно-социалистическую тенденцию: на такое об‘яснение наводит и то обстоятельство, что шайки пугачевцев, показывавшие крестьянству пример в грабежах, не касались крестьянской собственности [2], как бы тем подчеркивая ее справедливость и несправедливость собственности дворянской. Но лес рубят—щепки летят. Поэтому и крестьянской собственности пришлось тоже пострадать и довольно сильно—там, где бушевал мятеж, но где сами местные крестьяне в нем не принимали особенного участия. Официальные архивные документы точнейшим образом указывают и на это обстоятельство. У меня под руками лишь сведения, собранные коллегией экономии. Они относятся к селениям, за 10 лет перед тем отобранным правительством в казну у церковных учреждений и потому, конечно, не участвовавшим в мятеже в той мере, как помещичьи крестьяне, поднимавшиеся против своих господ. То обстоя-

[1] Арх. кн. Воронцова, т. 25, стр. 432—436.

[2] Пушкин, „Ист. Пугач. бунта“. Соч., изд. Исакова, 1859 г., т. VI, стр. 35.

тельство, что экономические крестьяне далеко не все участвовали в мятеже, как свидетельствует и напечатанная в приложении ведомость,—может быть, повлияло на бесцеремонное отношение пугачевцев к крестьянской собственности именно в этого рода „селениях“. Так, например, 3-го июля 1774 года в Мамадышевской волости (Казанск. губ. и уезда) „во всех (экономических) селениях, — читаем мы в одном из таких документов, — был известный злодей и самозванец Пугачев в бесчисленном множестве с злодейской толпой и чинили в крестьянских домах всякие грабительства“... В Осинской волости та же история. Здесь была только „злодейская толпа“, без Пугачева, но поведение ее осталось неизменным: „чинили в крестьянских домах всякие грабительства“. Так же поступала мятежная толпа во всех экономических волостях, где появлялась, с Пугачевым или без него—все равно. Всюду пугачевцы также брали лошадей, коров, баранов, всюду травили не только луга, но и хлеба в полях. Убытки крестьянству нанесены были очень большие. Так, например, в упомянутой Мамадышевской волости убыток, кроме потравленных хлеба и лугов, равнялся 10.726 р. 98 к.; в Осинской волости, где „в полях“ хлеб был потравлен „без остатку“, было пугачевцами разграблено на сумму в 26.203 р., не считая стоимости „потравленного в поле хлеба и лугов“, а также истребленного пожаром в селе Сайгатке недвижимого и движимого имущества: здесь во время „сражения“ пугачевцев с воинскою командою было пожжено 35 крестьянских дворов. Общий же убыток от пугачевских грабежей в 3-х экономических волостях Казанского уезда достигал солидной суммы 40.610 р. 98 к. [1]. Словом, и крестьянской собственности был нанесен немалый ущерб (в Полянской волости на 3.681 р.), но этот факт, конечно, нисколько не устраняет вышесказанного мнения о стихийно-социалистической тенденции пугачевских грабежей. Эта тенденция несомненна, ибо, строго говоря, в отношении к крестьянской собственности даже в экономических селениях пугачевцы не проявили лишь

[1] Московский архив быв. Минист. Юстиции, связка 590, листы 244—254.

особой бережливости и больше ничего: эта собственность терпела только потому, что подвертывалась под руку расходившимся мятежникам. Это было исключением, подтверждавшим общее правило, ибо и в те моменты, когда пугачевцы грабили крестьянские селения, ненависть грабителей направлялась все-таки не на крестьян, забиравшихся в казаки, а на дворян-чиновников и всякого рода властей, включая сюда и духовных. Так, в Мамадышевской волости были захвачены и повешены пугачевцами поручик Степан Петров, присланный в волость из Казанского экономического правления, земский села „Красная Горка" Иван Кузьмин и целовальник, приставленный к продаже казенной соли, тоже погрaбленной пугачевцами; повешены, правда, были еще 3 татарина деревни Ошмы, но это, разумеется, были тоже люди, стоявшие выше рядового крестьянства—вероятно, приставленные к казенному соляному интересу. Так, далее, в селе Троицком, Дубровы тожь (Осинской волости — Вятской провинции), был схвачен и заколот пугачевцами священник Родион Леонтьев. Винокуренные заводы, конечно, разгромлялись и разграблялись в первую голову. Имеем известие, что эта судьба постигла Алатырский винокуренный завод, где было разграблено деньгами и заводскими припасами на 14.461 р. 24 к. Вино, значит, мятежники братски роспили и отнюдь не поделились им со служащими завода, где, по официальным данным, было „умерщвлено" пугачевцами 10 челов. должностных лиц, т.-е. вся заводская администрация [1]. Словом, мятежники не давали пощады тем, кого они считали своими врагами [2], ибо это было время, когда „царствовал" поднявшийся простой народ...[3].

Неудержимое стремление народа к властности в этот миг проявлялось не только в грозных, трагических, но и довольно комических сценах, одну из которых передает нам

---

[1] Моск. арх. б. Мин. Юст., ibid.

[2] По тому же делу, хранящемуся в Моск. Архиве быв. Мин. Юст., значится, что пугачевцами было умерщвлено 5 казначеев, находившихся под ведомством Коллегии Экономии.

[3] Пушкин, „Истор. Пугач. бунта". Соч., изд. Исакова, 1859 г., т. VI, стр. 35.

тот же цитированный нами воронцовский „управитель". Прибывший в усадьбу Яшка-суконщик начал с того, что отыскал в подвале барские „вапчей сюртук", камзол и шапку и все это надел на себя, „а в лаптях",—с укоризной сообщает „управитель"; чтобы сделаться вполне барином, надо было приобрести сапоги, и вот, поймав приказчика в церкви, Яшка-суконщик заявил ему: „Ежели ты мне сапогов не дашь, то сейчас тебя повесим и всего разорим". Тот тотчас же и исполнил желание нового барина. „Он стал, — рассказывает „управитель",—их обувать, а ему в ноги кланяюсь, чтобы меня помиловал" [1]. Так „царствовали" во время пугачевщины, мстя своим „злодеям", народные массы и их представители; царствование было весьма интенсивно, ибо чувствовалось, что оно будет непродолжительно и что скоро придется, как и при Разине, „на отвал пойти".

[1] Арх. кн. Воронцова, т. 25, стр. 436.

VIII.

Екатерина II и Пугачев или крах пугачевщины.

Пугачевщина застигла Екатерину в такой момент, когда у нее и без того было много хлопот и забот. Она праздновала свадьбу Павла Петровича, проводила Васильчикова на пост официального фаворита, нудно освобождавшийся от Григория Орлова, и беседовала с Дидро, посетившим блистательный двор „Семирамиды Севера“ и ставившим ее своими экспансивными манерами и наивно пытливыми вопросами в довольно затруднительное положение. Сверх всего этого ожидалось сражение, которое предполагал дать Румянцев туркам под Силистрией. И вот, одновременно со всеми этими крупными и мелкими заботами, Екатерина узнала о первых сборищах мятежников по кличу Пугачева [1]. Появление Пугачева, конечно, отодвигало все другие заботы и неприятности на второй план. „Femme étonnante“ хорошо понимала все значение поднятого беглым донским казаком знамени: против „матушки-царицы“ шел „батюшка-царь“, при чем царь, обретенный народом, государь Петр Феодорович. Это был с точки зрения народа законный претендент на российский престол, идущий наказать неверную свою, предавшуюся боярам, жену; значит, это был личный враг Екатерины, которого, с ее точки зрения, прежде всего и надо было возможно скорее уничтожить. Отсюда вполне понятно то, что в глазах самой Екатерины главный смысл борьбы с развившейся пугачевщиной сводился к поимке Пугачева.

---

[1] Валишевский. Autour d'un trône Catherine II, imperatrice de la Russie, 203-205.

Как она ни посмеивалась над маркизом de Pougatcheff в письмах к своим иностранным корреспондентам, пытаясь все предприятие его обратить в какую-то ничтожную буфонаду, тем не менее она очень испугалась первого буфа начавшегося представления. А, испугавшись, Екатерина в весьма значительной мере сводила вопрос о пугачевщине к вопросу о Пугачеве, как о своем опасном конкуренте. Таким отношением императрицы к мятежу, в свою очередь, и об'ясняется, что на придворном совете серьезно обсуждался вопрос о том, можно ли в манифесте уподоблять Пугачева Гришке Отрепьеву, при чем Григорий Орлов высказался против этого, и совет согласился с ним, „дабы таким сравнением не возгордить мятежников". Здесь сквозит невольное опасение, как бы упомянутое приравнивание не вызвало у „черни" той ассоциации представлений, которая связывается с когда-то бывшим воцарением „расстриги", не вызвало бы надежд на возможность подобного же воцарения и для „об'явившегося" Петра Феодоровича. Далее, особо страстным отношением Екатерины к своему врагу об'ясняется большая готовность ее купить голову Пугачева, при чем вообще осторожная императрица допустила завлечь себя даже в обман и обнаружила хорошую сговорчивость на цену, назначенную яко бы яицкими казаками—100 руб. на человека. „Я нашла, — написала сгоряча Екатерина в письме к Волконскому,—что цена сия умеренна, чтобы купить народный покой" [1]. Правда, приведенные слова находятся в резком противоречии с тем, как Екатерина высказалась в придворном совете относительно той статьи манифеста, которая обещала награду за представление Пугачева живого или мертвого: императрица не согласилась на эту статью, дабы „таким поощрением" не был „подан повод к убийству". Но это указывает только на то, что Екатерина желала получить Пугачева живым, а не мертвым, ибо она воочию видела, как ушедшие к праотцам, при недостаточно ясных для большинства обстоятельствах, неожиданно оживают и снова появляются смущать „народ-

[1] „Русск. Арх." 1903 г., т. III, 164 и 165. „Русск. Арх." 1904 г., статья Голомбиевского: „Князь Г. Г. Орлов", II, 410, 412, 413.

ный покой". Ради того же „народного покоя", к которому так страстно стремилась императрица, оценка головы Пугачева скоро поднялась до 10.000 руб. [1]. „Героический" защитник Казани Потемкин, боясь, что Пугачев, после разбития под Казанью, двинется на Дон, обещал донским казакам за поимку самозванца 25.000 руб. и еще в придачу золотую медаль „в вечную честь". Когда же после победы над Пугачевым у Сальникова завода предположили, что самозванец проберется на Кубань, то туда, кабардинцам, было послано П. С. Потемкиным воззвание, обещавшее 30.000 руб. тому, кто поймает Пугачева и доставит его живым; за мертвого была назначена цена много дешевле— 5.000 руб. Насколько самая личность признанного вождя народного движения привлекала внимание правящих сфер, значит прежде всего самой Екатерины, видно и из стремления придворного совета возбуждать в народных массах „омерзение" к Пугачеву всевозможными, иной раз довольно жалкими способами. Так, придворный совет в интересах „омерзения" постановил, „чтобы дом Пугачева на Дону или пустое место, где он живал, были через палача разорены, выжжены и посыпаны солью". Пугачев слишком насолил Екатерине, чтобы можно было не отплатить ему посолением хотя бы пустого места, пока сам виновник еще не был пойман. Жену, детей и братьев Пугачева тот же совет постановил отдать под надзор местному начальнику, чтобы они служили ему как бы демонстративным доказательством самозванства Пугачева, чтобы начальник, „показывая их народу, мог убеждать заблуждаемых во лжи и неистовствах Пугачева" [2], стало быть—тем успешнее мог внушать населению все то же чувство „омерзения" к человеку, похитившему столь высокое имя и посягнувшему на такую высоту. Екатерина была далеко неравнодушна к попытке Пугачева разыграть роль российского самодержца. Она не обратила впоследствии пригород в город только за то, что там Пугачев посидел на церковном престоле, в про-

---

[1] „Русск. Арх." 1903 г., III. Опыт истор. госуд. совета В. И. Туманского, стр. 164.

[2] „Русск. Арх.", III, стр. 165.

стоте душевной полагавший, что цари сидят именно на таковом.

Что же за человек был Пугачев, как личность? Мы видели, что это человек смышленый, хитрый и восприимчивый, но в то же время человек, не выходящий из среднего уровня талантливых и жадных к жизни людей; это—люди, более способные к подражанию, чем обладающие тою сложною, резко выраженною, психическою индивидуальностью, которая вызывает подражание в других, даже в массах, и которая состоит в соединении сильного ума с непреклонной волей. Пугачев был неглупый, „проворный" и порывисто энергичный малый, но это—не Разин, производивший неотразимое влияние на толпу, обладавший огромною силою внушения [1]. Правда, восприимчивый ум Пугачева схватил носившуюся в воздухе идею самозванства, и Пугачев решился ее осуществить. На это не хватило бы совсем обыкновенного, серого, заурядного человека, тем более, что Пугачев хорошо понял ту социальную атмосферу, в которой зародилась мысль о скрывающемся и имеющем появиться царе и в характере которой самозванец собственно и видел залог своего успеха; но при всем том мы не должны забывать, что осуществление означенной мысли было произведено Пугачевым при огромном содействии ему со стороны таких сильных умом и волей (пожалуй, более сильных, чем сам показной вождь движения), как Чика-Зарубин и его ближайшие товарищи по заговору; далее мы не должны забывать, что в самый критический момент, когда, по мнению окружавших самозванца яицких казаков, надо было итти на Москву, у Пугачева не хватило воли решиться на этот крупный шаг, которого при общебунтовском настроении народа так боялись—и не без основания—двор и дворянство. Это и заставляет характеризовать Пугачева, как средней руки даровитого сына народа, но весьма впечатлительного, сметливого и озлобленного всею

[1] См. мои сочинения: „Разиновщина, как социолого-психологическое явление народной жизни", 1-е изд. Петербург, 1906 г., 4-е изд. Москва, 1920 г.; „Чтения по истории Средн. и Нижн. Поволжья". 2-е изд. Казань, 1921 г.; „Народные движения до XIX в." Москва, 1924 г.

предшествующею своею жизнью. Эти свойства Пугачева—значительная восприимчивость к житейским впечатлениям, народным веяниям и слухам, его озлобленность и в то же время сообразительность—толкнули его на путь смелой авантюры; пошел же он по этому скользкому пути далеко не самостоятельно, а сильно поддерживаемый своими сообщниками — яицкими казаками, и даже при такой поддержке не осмелился двинуться туда, куда путь был конечной целью его мечтаний.

Мы видели, что Пугачев, признанный массами „государем", обнаружил большую склонность предаваться жизненным утехам и в частности женолюбию; если последнее и было одним из природных его свойств, то все же развернуться этому свойству сильно посодействовало то положение, которое он занял в силу народного признания. Власть сильно портит людей, и трудно потому определить, в какой мере эксцессы Пугачева зависели от его женолюбивой натуры и в какой были результатом тех соблазнов, которые ставит на своем пути жизнь „самодержавному" властелину; ведь в этом смысле Пугачева в его „императорском" сане можно было бы смело поставить на одну доску с „матушкой-императрицей", как известно, тоже не избежавшей соблазнов своего положения, соблазнов, за которые русский народ заплатил куда дороже, чем за амурные грехи ее самозванного супруга. Стоит только припомнить о том, что громадные массы народа были лишены свободы, сделавшись жертвой интимной жизни Екатерины, что под бременем ее „грехов" истощалось государственное казначейство, что, например, Орлов был осыпан драгоценностями, и стоимость его платья достигала 1 милл. руб. [1], что даже подарки самой Екатерине подносились на казенный счет,—так, за знаменитый алмаз Лазарева, подаренный гр. Орловым императрице, было уплачено из сумм кабинета [2],—стоит только все это и многое другое припомнить, чтобы затем уже не слишком удивляться излишествам и

[1] Дубровин, I, 300.

[2] „Русск. Арх.", 1904 г., II, 411—„Кн. Гр. Гр. Орлов", ст. Коломбиевского.

„неистовствам“ бывшего донского казака в его личной жизни, в пору его „государствования“ среди поднявшегося за него простого народа. Женолюбие ссслужило Пугачеву плохую службу. Эта склонность увлекла его в брак с казацкой девицей Устиньей Кузнецовой, что сильно пошатнуло его репутацию „истинного государя“ в широких кругах казачества, не посвященных в его тайну. Сохранилось свидетельство, что с женитьбою на Кузнецовой Пугачев „потерял многих приверженцев в войске: они начали рассуждать, что, если бы он был точно Петр Феодорович, то как бы ему жениться от живой жены Екатерины Алексеевны на другой“ [1].

Да и вообще Пугачеву было не легко играть взятую им на себя роль. Он был безграмотен, а надо было подписывать манифесты, читать челобитные, приходилось так или иначе вывертываться из трудного положения, предоставляя делать то и другое своим секретарям; но с течением времени и не знавшие о тайне его казаки поняли, что их „государь“ не показывает своей руки не потому, что не пришло время, а просто потому, что писать не умеет. Пугачев вообще имел дело с незнакомыми людьми, не знавшими его раньше, но ведь у него имелись и знакомые донские казаки, от которых, по показанию очевидцев, ему пришлось „рожу отворачивать“: положение для „государя“ тоже довольно нехорошее. Зная, по наслышке, о том, как живут и управляют цари, Пугачев, при содействии своих помощников, усердно старался не ударить лицом в грязь в своих „государевых“ церемониях. При этом подражание двору и правительству Екатерины шло так далеко, что в результате получалась полная бессмыслица: „бояре“, против которых шел Пугачев, как против своих и народных лиходеев, оказались его сторонниками и сообщниками в лице казацких старшин, получивших громкие фамилии и титулы екатерининских вельмож. Пышная, праздная, наполненная всевозможными наслаждениями жизнь двора несомненно волновала воображение самозванца и его сообщников, и они, по мере своей осведомленности и располагаемых ими средств,

[1] Рукопись Музея отечествоведения.

стремились подражать этой жизни, ее сложному этикету: получалась, разумеется, достаточно злая (хотя и бессознательная) карикатура на об'екты подражания. О характере господствовавшего в ставке Пугачева этикета и в частности о манере жаловать верных слуг престола дает некоторое понятие следующее сообщение известного нам Верхоланцева. В день своих именин Верхоланцев явился к шатру Пугачева, следовательно „ко двору", опустился на колена и поставил на голову блюдо с яблоками. Это было началом „высочайшего" приема. Пугачев вышел из шатра. „Здравия желаю, ваше императ. величество",—вскричал „верный слуга". Тогда самозванец спросил, „как зовут" именинника, и приказал „справиться в святцах, не обманывает ли он". Когда это было исполнено и обмана не оказалось, Пугачев вернулся в шатер и „вскоре",—пусть рассказывает сам счастливый именинник,—„выносит на том же блюде 5 аршин кармазинного сукна и столько же золотых, с нужными знаками для мундира полковничьего, поставил мне на голову и сказал: поздравляю тебя полковником 3-го яицкого полка". Самым костюмом своим, в пределах возможности, Пугачев стремился подчеркнуть свое царское положение: „на государе,—рассказывает Верхоланцев,—надета была парчевая бекешь, сапоги красные, шапка была сделана из покровов церковных" [1].

Пугачев при каждом удобном случае старался укрепить в окружающих и в народе мысль об его „истинности". Нередко он разговаривал о Павле Петровиче, как о своем сыне, и, желая показать, как он заботится о судьбе „наследника", Пугачев даже договаривался до того, что и царство он добывает не для себя, а для него; впрочем, в других случаях самозванец не снимал своей личной кандидатуры. тем не менее всегда подчеркивал свою любовь к сыну и проливал горькую слезу, как вящшее доказательство настоящего отцовского отношения к Павлу Петровичу; с другой стороны, изобретались и такие доказательства, которые свидетельствовали бы о сыновнем отношении наследника к обретшемуся государю-отцу: несомненно такое значение

[1] Рукоп. Муз. отечеств.

имела та трехугольная шляпа, которая была поднесена Пугачеву от имени Павла Петровича кем-то приехавшим в карете, якобы в качестве посла от наследника престола [1].

Увлекаясь своею опасной, головокружительной ролью, Пугачев, видимо, руководствовался одним ощущением наслаждения моментом: „хоть час, да мой"; в таком смысле Пугачев впоследствии об'яснял происхождение своего „самозванства". Словом, он хотел всласть „поцарствовать", пока целый обширный край был за него и пока сам он не был пойман, — поцарствовать, как государь „самодержавный"; отсюда именно и вытекали такие экстравагантные поступки Пугачева, как, например, женитьба при живой жене, — поступки, совершенно несогласные с народными понятиями, но об'ясняемые той ролью, с которой Пугачев врезался в народную жизнь...

При всем этом, самозванный самодержец жил не столько „по-царски", сколько попросту, „по-казацки": недаром Пугачев указывал на то, что он сам живет просто, не так, как его губернаторы... И действительно, Пугачев не все время пировал, не все у него было разливанное море и пищевое обилие; очевидцы потом сообщали о нередком воздержании Пугачева от винопития и чисто народном столе этого мужицкого „государя": „пища его, — говорит один из них, — состояла более в том, что велел принести толченого чесноку глубокую тарелку и, налив в оный уксусу и посоля, ел"... И кушая чеснок, „государь" не страдал отсутствием аппетита: очевидцы помнят, как после целой тарелки этого растения Пугачев спросил другую такую же тарелку „чесноку" и ее „сожрал же" [2]. Так Пугачев невольно подчеркивал перед окружающими свою принадлежность к той же самой среде, из которой вышли они сами, и это обстоятельство, а также замеченная ими безграмотность „государя" внушали последним его сподвижникам, не знавшим в точности о происхождении Пугачева, убеждение, что перед ними — не „государь", а простой мужик. Обыкновенность Пугачева, при всей его хитрости, смышлености и бойкости,

[1] Рукопись Музея отечествовед.
[2] Дубровин, III, 165.

бросалась в глаза. Ничего особенно импонирующего, кроме сана, не было, не чувствовалось в этом человеке, в котором, как и у громадного большинства подобных средних (хотя и талантливых) людей, жестокость благополучно уживалась с значительной долей добродушия и слабостью характера в тяжелый момент жизни. Так, по рассказу Рычкова, Пугачев, увидав слезы на глазах его, когда тот говорил об убитом пугачевцами сыне, сам всплакнул вместе с горюющим отцом [1]. На допросе Пугачев заявил, что он „кается" в своих преступлениях „всемилостивейшей государыне и всему роду христианскому" [2]. Может быть, этим покаянием Пугачев действительно рассчитывал вымолить себе жизнь, как предполагала Екатерина II, написавшая своему заграничному корреспонденту Гримму: „Этот честный негодяй, кажется, не обладает рассудком, так как надется, что, быть может, будет помилован, или уже человек не может жить без надежды и обольщения" [3].

Человек потерялся и в таком состоянии едва ли мог остаться „без надежды и обольщения". На эшафоте Пугачев совсем пал духом и был, как сообщает очевидец Болотов, „почти в онемении и сам вне себя и только что крестился и молился". Пугачев, по описанию известного нам Верхоланцева, „был среднего роста, корпусной, в плечах широк, смугловат, борода окладистая, глаза черные, большие" [4]. Фигура, если и не очень выдающаяся, то все же

---

[1] Пушкин, стр. 111—112.

[2] Дубровин, III, 360.

[3] „Русск. Стар.", т. 78, ст. Бильбасова: Екатерина II и Гримм. С. И. Р. И. О., XXIII, 9.

[4] Рукоп. Муз. отечеств.

Подобное впечатление произвела фигура Пугачева и на одну казачку, много лет спустя сообщавшую любопытствующим: „как теперь на него гляжу: мужик был плотный, здоровенный, плечистый, борода русая, окладистая, ростом не больно высок и не мал". „Русск. Арх.", 1902 г., II, 658.

По офиц. бумаге Пугачев был „ростом двух аршин четерех с половиной вершков, от роду не более 40 лет, с приметами: волосы на голове темно-русые, усы и борода черные с сединой, от золотухи на левом виске шрам, да от золотухи же ниже правой и левой титек две ямки" (Дмитриев-Мамонов, Пугач. бунт в Зауралье и Сибири, 41).

довольно видная. А теперь, на эшафоте, Пугачев в длинном нагольном тулупе показался Болотову полным ничтожеством, не оправдавшим, по его мнению, своей мрачной славы, показался просто „каким-либо маркитантишком или харчевником плюгавым“: „б о р о д к а,— рассказывает Болотов, — н е б о л ь ш а я, волосы всклоченные, и весь вид ничего не значущий“... И Болотов, вблизи созерцая Пугачева, не мог достаточно надивиться, как „можно было сквернавца сего почесть Петром III“. Другой очевидец, Дмитриев, впоследствии писатель и вельможа, свидетельствует о совершенной растерянности Пугачева в эту страшную для него минуту: прощаясь с народом „с утопленным видом“, самозванец говорил прерывающимся голосом: „прости, народ православный, отпусти мне, в чем я согрубил перед тобою, прости, народ православный“. Когда же по знаку „экзекутора“ палачи, бросившись на Пугачева, „сорвали“ с него тулуп и „стали раздирать рукава шелкового полукафтанья“, то самозванец, „всплеснув руками, опрокинулся навзничь, и в миг окровавленная голова уже висела в воздухе. Палач взмахнул ее за волосы“. Толпа, рассказывают, глухо загудела; слышно было, что некоторые приговаривали: „вот тебе и корона, вот и престол!“ Настроение громадной толпы, сошедшейся на „Болото“ для этого зрелища, было, разумеется, не одинаково; сложное чувство всколыхнулось в ней, когда она увидела отрубленную голову Пугачева, и в глухом шуме толпы выразились за-раз отчаяние, ужас и жалость одних, радость и злорадство других. По сообщению Болотова, в народе „многие“ надеялись на помилование, „и, — говорит этот свидетель, — бездельники того желали, а все добрые того опасались“ [1]. „Бездельники“—это, конечно, народ или, по определению Болотова, „глупая и легковерная чернь“, не знавшая что и подумать о казненном человеке, которого так недавно она считала своим настоящим царем; во всяком случае она жалела его, как своего брата, боровшегося за ее интересы; „добрые“—это российские благородные дворяне, которых, как сообщает тот же Болотов, пропускали „без остановки“ за сомкнутый фронт

[1] Записки Болотова, III, 489—490; Дубровин, III, 365 и 366.

Пугачев в клетке.

войск, окружавших в полной боевой готовности (с заряженными ружьями) самое место казни Пугачева и его сообщников [1]. Так как войсковая цепь была поставлена в значительном отдалении от эшафота и виселиц, то получился „обширный круг", куда никого не пускали „из подлого народа", но куда набралось „превеликое множество дворян"; они смотрели на казнь, судя по их собственным свидетельствам, с чувством глубокого удовлетворения. Дворяне хорошо сознавали, что Пугачев был их врагом, „наиболее,—как говорит Болотов,—против них восставал", почему, по мнению этого современника, и можно было „происшествие и зрелище тогдашнее назвать истинным торжеством дворян над сим общим их врагом и злодеем" [2]. Да, Пугачев был опасен не только Екатерине — в качестве Петра III, но и дворянству—в качестве „истинного царя", несшего народу освобождение от дворян, мужицкое царство, был опасен именно тем, что результатом его восстания была пугачевщина. В своей речи к казанскому дворянству Бибиков даже указывал, что восстание Пугачева „для дворянства и богатых, может быть, еще опаснее, чем для императрицы: это, — говорил он,—бунт бедных против богатых, холопов против господ". Через уничтожение, истребление дворянства, по дворянским трупам признанный народом самодержец хотел добраться до трона Екатерины. Вот почему дворянство с большою признательностью отнеслось

---

[1] Яицкого сотника Афанасия Перфильева, казаков Максима Шигаева, Падурова и Василия Торнова. Первый был, как и Пугачев, приговорен к четвертованию, а остальные — к повешению. Падуров был депутатом в комиссии для составления проекта Нов. Улож. и его в качестве такового нельзя было казнить, на что и указывал князь Вяземский; но, несмотря на это, Падуров не избежал смертной казни. Чике-Зарубину была отрублена голова в Уфе. 9-ть казаков, арестовавших Пугачева для выдачи правительству, были помилованы, но тем не менее сосланы на всю жизнь на поселение в распоряжение рижского губернатора, с лишением казацкого звания и переименованием в переселенцев; это — Иван Творогов, Федор Чумаков, Василий Коновалов, Иван Бурнов, Иван Федульев, Петр Пустобаев, Кузьма Кочуров, Яков Почиталин и Семен Шелудяков.

[2] Записки Болотова, III, 488.

к заявлению Екатерины о том, что она—„казанская помещица“: этим самым императрица образно подчеркнула лишь то, что было в действительности — солидарность ее интересов с интересами дворянства. Обещав, таким образом, стоять на страже дворянских интересов, Екатерина предложила дворянству употребить все усилия, чтобы отстоять ее трон и через то укрепить собственное положение перед лицом „черни“, народа.

Опасность, как мы видели, была сильна; это почувствовали и на Западе, хотя русское правительство вообще замалчивало движение и старалось представить дело не стоющим внимания [1]. Прусский король, вдумываясь в то немногое, что сообщал ему его резидент при русском дворе, скоро догадался о настоящей силе движения. „Из того, что вы сообщаете мне,—писал Фридрих Сольмсу 15 февраля (1774 г.),—бунт более опасен, чем возвещалось в первых донесениях“. 12-го марта король снова высказал опасение, как бы „дух мятежа“ не стал распространяться с каждым днем и не усилился бы“ [2]. Опасения подобного рода, вероятно, сыграли некоторую роль на европейской бирже, и мне кажется, что к тем причинам падения вексельного курса в России, которые были указаны в 1774 г. в „комиссии о коммерции“ [3], следует добавить и пугачевщину, как обстоятельство, до известной степени поколебавшее заграничный кредит правительства Екатерины II. В самом деле, едва ли можно было не сомневаться в устойчивости этого правительства, когда мятеж принял громаднейшие размеры. Площадь его распространения превзошла даже громадную площадь разиновщины: почти все Поволжье, с низовьев до тогдашней Нижегородской губернии включительно, южное и среднее Приуралье, юго-западная окраина Сибири, вот обширные пространства, на которых развернулся пугачевский бунт; кроме того, и киргизскую степь (хотя

[1] Сборн. Имп. Р. И. О., т. 72, стр. 462 и 470, 484, 555.

[2] Ibid., 508 и 509, 558.

[3] См. о них в моем сочинении: „Правительство и общество в их отношениях к внешней торговле в России в царствование императрицы Екатерины II“, стр. 87—96.

некоторые в те времена и рассчитывали на поддержку киргизов против Пугачева) следует включить в состав той же отложившейся от правительства Екатерины территории, ибо из этой степи, пользуясь начавшейся смутой и растерянностью власти, совершались опустошительные набеги на собственно русские пределы, результатом чего бывало и пленение многих крестьян. В довершение всего начиналось аналогичное движение против зависимости от России среди закубанских народов [1]. Но мятеж был опасен не только своим широким распространением и указанным влиянием на подвластные народы, но и тем, что он был весьма интенсивен, и его „дух", дух пугачевщины, был свойствен крепостному крестьянству в с е й России. Так, Болотов, сообщая о вспышке против него крестьян, рассказывает, что предводитель пришедшей к нему толпы, которого он обругал „сукиным сыном" и хотел ударить, с а м закричал на него: „Я не сукин сын, а разве ты такой, а себя я тебе докажу. Бить што ли меня хочешь, так тебе не удастся, и кому еще бог поможет"; и „сказав сие,—продолжает Болотов,—побежал ко мне вверх по ступенькам и протянул уже руку, чтобы схватить меня за ворот и тащить с крыльца" [2]. А эта сцена произошла уже после казни Пугачева, что неопровержимо и доказывает живучесть того оппозиционного настроения, острым и кровавым выражением которого была пугачевщина. В этом-то „пугачевском" настроении народа, характеризующемся внутренней эмансипацией от барского авторитета и готовностью бунтовать против него, и заключалась главная опасность пугачевщины для дворянства и, следовательно, для Екатерины. Отсюда понятно, почему, как выражается князь Петр Долгоруков, la noblesse effrayée se rangea autour Catherine [3]. С другой стороны, понятно и то, что правительство и его уполномоченные, опираясь на господствующий класс, взиравший с упованием на Екатерину II, как сторонницу дворянских интересов, как на „ка-

[1] А. И. Дмитриев-Мамонов, Пугачевский бунт в Зауралье и Сибири, Спб., 1907 г., 75—77 стр.; Пушкин, 54.

[2] Записки Болотова, III, 493 и 494.

[3] La vérité sur la Russie, 1860, стр. 201. ... et,—прибавляет автор,—l'insurrection fut étouffée...

занскую помещицу", употребили самые энергичные усилия для подавления мятежа и восторжествовали сначала над претендентом на похищенный Екатериной у Петра III трон, а потом и над восставшим крестьянством, немедленно начавшим по кличу своего „истинного царя" свои агрессивные действия против господ, но далее, кроме манифестов-прокламаций, не получившим от этого царя никакого руководительства... И Екатерина и дворянство сознавали, что движение имеет зловещий характер, что спасение—в энергичной поддержке друг друга, и, быстро оправившись от ударов, нанесенных им пугачевцами, повели борьбу с общим врагом в высшей степени солидарно, планомерно и беспощадно. Беспощаден был и Пугачев и восставший народ, но и только; далее мы видели, Пугачев в своих действиях более руководствовался своими личными интересами, чем интересами восставшего в Поволжьи крестьянства, и уклонился от того смелого шага, на который само толкало его народное движение, искавшее в нем опоры, аналогичной с тою, какую искало и получило дворянство в Екатерине и ее правительстве. В том, что народ не нашел в Пугачеве такой опоры, что Пугачева не хватило на такое дело—действовать так же солидарно и планомерно с народом, как Екатерина действовала с дворянством,—и заключается одна из самых существенных причин краха пугачевщины.

Действительно, Екатерина проявила большой политический такт и незаурядную энергию в деле борьбы с Пугачевым и пугачевщиной. Женщина самолюбивая и тщеславная, у которой, по словам Вигеля, „даром никто умен не бывал", она тем не менее, считаясь с положением дел и желанием влиятельной панинской партии, назначает, как мы видели, на театр военных действий против Пугачева главнокомандующим самого заметного московского фрондера и своего обидчика Петра Панина; верно оценив опасность от дальнейшего развития мятежа, спешит она вызвать из дунайской армии для борьбы с Пугачевым лучшего своего боевого генерала Суворова... Военачальников, имевших успех в этой борьбе, Екатерина щедро награждает, тем самым усиливая ревность в одних, вызывая соревнование в других. „Мое намеренье есть,—писала Екатерина,—на-

градить деревнями всех тех, кои во всякой войне кресты бы заслужили", и это „намеренье" выполнялось раньше, чем было высказано: за победу под Казанью Михельсон получил 600 душ крестьян, а всего главный победитель получил 1.000 душ. Награждались и менее видные „деятели": так, сфицеры, бывшие в отряде Михельсона под Казанью, получили 3.146 душ. Награждались не одними деревнями: напр., Чемесов, командовавший уланским отрядом менее чем в 200 человек и разбивший под Пензой партию пугачевцев более чем в 3.000 чел., был пожалован чином надворного советника и воеводою в Пензу. Не остались в этом случае без награды и солдаты: уланам за победу было пожаловано по 1 рублю на брата [1]. Регулярное войско было громадным преимуществом Екатерины и дворянства. Как бы ни были незначительны количеством отряды, действовавшие против Пугачева, все-таки это было настоящее войско, а не то войско, которое было у Пугачева и которое было такою же злою пародией на настоящее войско, какою был он сам, невежественный донской казак, на настоящего государя. Правда, есть свидетельство, что и от регулярного войска обывателям из духовенства и дворянства, т.-е. тем, за кого бороться это войско было послано, приходилось страдать не менее, чем от Пугачева [2]; но это не уменьшало значения сравнительно хорошего вооружения этого войска и его привычки к маневрам на боевом поле. Состязаться на таком поле пугачевскому войску с регулярным было совершенно не под силу, хотя иногда пугачевцы дрались с отчаянной отвагой. У них прежде всего не было хорошего оружия, ибо большая часть их была вооружена чем по-попало—дубинами, кольями, косами, вилами, копьями, луками [3], но отнюдь не ружьями; а затем у пугачевцев, при всем их

---

[1] „Русск. Стар.", 1876, XV, 202 и 203. Ив. И. Михельсон, Дубровин, III, 101; „Русск. Стар.", т. 72, стр. 3.

[2] „Русск. Старина"—Из дипломат. переписки о России XVIII в., т. 86, стр. 124; 1896 г.

[3] Так один из офицеров, действовавших против Пугачева, сообщает в своих записках не раз, что большая часть пугачевск. толпы, с которой ему приходилось иметь дело, стреляла из луков. „Русская Старина" 1904 г. 118 т., стр. 658, 651, 652, 657.

азарте, не было боевой опытности и выдержки. Наиболее боевыми людьми, умевшими обращаться с огнестрельным оружием, и в том числе с пушками,—сверх немногих подготовленных заводских рабочих и старых солдат.—были яицкие казаки, но их было тоже немного, а когда Пугачев двигался из Нижегородской губернии к югу, их осталось и совсем мало. Пугачев хотел подкрепиться донскими казаками, но Дон (где тоже начались было разговоры на тему, что тот, кто идет, не Пугач, а помазанник божий—Петр III) все-таки остался верен Екатерине. Лишь небольшая партия явилась к Пугачеву оттуда, да и та ему скоро изменила: в ней нашлись люди, знавшие Пугачева, и хотя он, по выражению одного из своих сообщников, „рожу свою и отворачивал", однако от них не укрылся, и к следующему дню у Пугачева не осталось ни одного донца.

Донская казацкая старшина была на стороне правительства, и это обстоятельство, разумеется, в значительной мере обеспечивало здесь надзор за пришельцами, „особливо из бродяг и носящих на себе образ нищего", чем имелось в виду пресечь среди Донского войска агитацию эмиссаров Пугачева. Для этой агитации к тому же и почва была неблагоприятная: наиболее вольнолюбивый и горячий элемент Дона отсутствовал—молодежь была на войне. Когда же летом 1774 г. часть донцев пришла домой, то правительство поспешило их занять новой службой по охране „соседственных" с землями войска Донского местностей и „самого Дона от разорений, причиняемых сим тысячи казней достойным злодеем"; для этой цели были сформированы даже новые полки, и в результате—тихий Дон теперь блистательно оправдал свой эпитет. В благодарность за это Екатерина удостоила Донское войско особой чести: было повелено прислать с Дона в Москву к январю 65 чел., „самых лучших и способнейших в оборотах казацких", для почетного конвоя императрицы, как раз к празднествам по случаю заключения Кучук-Кайнарджийского мира, которые должны были состояться в Москве после казни Пугачева и его товарищей.

Так умело Екатерина воспользовалась всеми находившимися в ее руках рессурсами самодержавной власти и го-

сударства, представлявших тогда организованное господство высшего сословия—дворянства.

Пугачев был в другом положении. Как мы видели, вся сила Пугачева заключалась в народе, но он не сумел воспользоваться этой силой, предоставив ей разрядиться гневным чувством по частям, разрозненно, стихийно... Такое течение восстания могло принести много зла классу, на который был направлен гнев народной массы, но не могло дать никакой опоры для человека, во имя которого совершалось истребление помещиков и усадьб. С поимкой же этого человека дело народа окончательно было проиграно: мятеж быстро стал ослабевать, как ослабевает пожар, лишь только стихнет раздувавший его ветер. Таким образом, народ не получил опоры в Пугачеве, ибо Пугачев сам отказался от народа, как от своей опоры, видимо взглянув на предприятие, как на безнадежное; может быть, в глубине души он никогда не считал его иным, а потому с легким сердцем и оставил поднявшихся крестьян в жертву их победоносным усмирителям. Последние не шутили. Еще раньше полковник Ступишин в написанном воззвании к башкирцам предупреждал их, что им „не будет пощады", если до него дойдет слух, что они „воры и шельмы",— как выразился усмиритель,— „ждут к себе" пугачевцев и припасают им „корм и скот, стрелы и оружие": „буду,— заявлял он,—вас казнить, вешать за ноги и за ребры, дома ваши, хлеб и сено подожгу и скот истреблю"; если же кто пойман будет с пугачевскими письмами, то „велю,— говорил полковник,—пытать накрепко, а также нос и уши обрежу". И подобные угрозы исполнялись прежде даже, чем они были об'явлены: так, с воззванием, сейчас процитированным, был послан башкирец, у которого, по приказанию полковника, уже были отрезаны нос и уши за то, что у него были обнаружены „воровские письма", т.-е. пугачевские прокламации. „Знайте же то, воры, и ужасайтесь",— говорилось в этом полковничьем воззвании.

Несмотря на эти устрашения, Салават Юлаев, один из наиболее энергичных руководителей башкирского народа в деле восстания, держался довольно долго, репрессиями побуждая своих сородичей продолжать борьбу и после

окончательного поражения и ареста Пугачева. Зато Салават Юлаев, а равно и отец его Юлай, попавши в руки правительства Екатерины, были подвергнуты тягчайшему истязанию: они были нещадно биты кнутом во всех тех местах, где они действовали, как вожди повстанцев, а потом, после клеймения и вырезки ноздрей, сосланы в каторжную работу.

Вообще, когда Пугачев был пойман, Панин для окончательного подавления мятежа пустил в ход систему самого страшного террора, которая даже выходила за пределы полномочий, полученных „персональным оскорбителем" и „первым вралем" от „обожаемой" им императрицы. Отнесясь с полной беспощадностью к „пугачевским чиновникам", обреченным смертной казни, Панин приказал вешать и от каждых 300 чел. в бунтовавшей местности; всех же остальных крестьян пересечь жестоко плетьми и у „пахарей, негодных в военную службу, на всегдашнюю память злодейского их преступления, урезать у одного уха"... и т. под. Неудивительно, что далеко не все участники в пугачевских скопищах из крестьян, забранных „в казаки", возвратились „в домы свои"; часть пускалась в бега, дабы избыть жестокого наказания...

Попавшие в руки властей разбивались на части: одних отпускали „с билетом", а других брали „под караул". Положение последних бывало не из легких. Так, из нескольких десятков экономических крестьян, задержанных в селе Сайгатке (Осинской волости) и в большинстве отпущенных „с билетом", 7 человек были арестованы, и они все семеро „под караулом померли" [1].

Тела казненных было велено „положить по всем проезжим дорогам". Панин, зная, что все эти приказания сделаны им по ревности, а не по высочайшему повелению, писал Екатерине, что он принимает „с радостью пролитые крови таких государственных злодев на себя и на чад своих". Императрица несколько ослабила панинское усердие своим советом помнить, что она к казнимым может относиться „не инако, как мать, обливающаяся слезами при

[1] Моск. архив бывш. Мин. Юстиции. Ibid.

нужном наказании детей своих непослушных", но она признала, что „в теперешнем случае казнь нужна для блага империи" [1]. И „непослушные дети" были казнены в немалом количестве. Это была месть правящих за пугачевщину. Счеты были сведены.

Явившийся в народе темный конкурент Екатерины оказался не по плечу ученице Вольтера, а „непослушные дети", уверовавшие в грядущее фантастическое царство милосердного для черни „истинного государя", исполненные гнева, ненависти и мести к своим владетельным „отцам" и „матерям", следовавшие за политическим миражем, удалявшимся от них все дальше и дальше, но, в сущности, страстно и неорганизованно стремившиеся к осуществлению своих кровных интересов, неизбежно, при таких условиях, должны были спасовать перед организованными силами государства, точнее правительства и дворянства, прочно скованных между собою солидарностью своих собственных интересов.

---

[1] Дубровин, цит. соч., III, 26, 294—296.

Заключение: социологическое и психологическое значение пугачевщины.

Страшный народный пожар, именуемый пугачевщиной, ярко осветил не только аномалии общественного порядка, но и самые закоулки народной души: в этом заключается право пугачевщины на рассмотрение ее с социологической и психологической точек зрения, что мы и пытались сделать в предшествующем изложении. Из этого изложения видно, что социологическая природа пугачевщины сложная; это—целый ряд вооруженных восстаний со стороны разных групп населения: со стороны яицкого казачества и тесно связанного с ним раскольничьего мира, со стороны инородческого и рабочего населения обширного приуральского и поволжского края и, особенно, со стороны крепостного крестьянства. На порабощенное, „обиженное и разоренное" крестьянство рассчитывали главари движения и не обманулись: крепостные дали высшему сословию в государстве жестокий, но выстраданный ими ответ, ответ на все ужасы того положения, в котором они находились в разгар развития крепостного права. Таким образом, пугачевщина явилась выражением, главным образом, стремления социально-экономического. Крестьянство хотело приобрести свободу от крепостного ига и ее реальную основу—землю—ценой истребления всего благородного сословия. Не говоря уже о заводском рабочем населении, находившемся в особого рода крепостном состоянии, социально-экономическим побуждением руководились и участвовавшие в пугачевщине инородцы, боровшиеся за свои степи, за свою землю; но, в частности, башкирский народ не мог не обнаружить и тенденции к автономии по отношению к русской государственной вла-

сти; еще более этой тенденцией запечатлены стремления вставшего во главе мятежа яицкого казачества, поднявшегося не только за свои старые казацкие права, но, в качестве представителей раскольничьего мира, и за торжество старой веры. С другой стороны, так как недовольство своим положением находилось и в низшем, белом, особенно многочисленном, бродячем духовенстве, и в низших слоях городского населения, то ничего нет удивительного в том, что и среди этих групп населения возникла большая склонность присоединиться к движению, в расчете на лучшее будущее, как это постоянно бывает с обездоленными, желающими перемены хотя бы потому, что хуже быть от того для них не может. Этим, так сказать, общим недовольством низов и об'ясняется, почему так легко Пугачеву досталось большинство взятых им городов. Это общее недовольство социальных низов народа своим положением (за что ответственность обыкновенно переносится на правительство) проявилось весьма рельефно, незадолго до пугачевщины, в московском бунте во время чумы, каковой бунт нельзя не считать как бы прелюдией, прологом к пугачевскому восстанию подобно тому, как московский мятеж 1662 г. явился аналогичным фактом по отношению к разиновщине. Но пугачевщина, не отличаясь от разиновщины тем психологическим процессом, которым народ подходил к новому потрясающему взрыву, отличается от нее большею широтой и глубиной своих интересов, из коих преобладающее значение имел интерес крепостной крестьянской массы. Грозное выступление в русской жизни последнего интереса и надо считать главною особенностью пугачевщины как в ее важнейших общих причинах, так и в ее наиболее опасном для правительства и дворянства моменте. Другою особенностью пугачевщины, понятно, является то знамя, под которым она шла, развивалась и без которого она быстро сошла на ничто,—это царское знамя, знамя „истинного государя", вере в которого движение было обязано большей частью своих мимолетных успехов. Для яицких казаков, начавших восстание, это знамя было таким же тактическим приемом, как и заявление Разина, что он идет за государя; но для народной массы оно было реальной величиной, тем, при-

нявшим определенные, в духе народных понятий, очертания, центром, куда устремлялись все надежды и упования народа. Ведь масса не могла разочароваться в своем царе так, как разочаровались в нем близко стоявшие к нему люди, даже и не посвященные в его тайну: она была все же слишком далеко от него, да и не могла отнестись к нему так критически, как, например, Иван Творогов или, тем более, перешедший на сторону Пугачева майор Саламанов, который думал встретить в нем настоящего государя, а „усмотрев неистовство и похабство в злодее, признал за истину, что он вор, разбойник и самозванец". Такая „истина" была совершенно недоступна некультурной, склонной к сказочной идеализации, народной толпе; наоборот, слишком заманчиво было для нее поверить...

Если изучение социального состава пугачевщины дает нам возможность лучше уяснить ее социологические причины и тем пролить некоторый свет и вообще на социологическую сторону движений подобного рода, то, с другой стороны, изучение значения в пугачевщине самозванца (как особое условие движения) вводит нас в трудную для научного анализа область народной психологии; но и этого изучения нельзя оставлять без внимания, ибо, в конце концов, от того или другого настроения народных масс зависит тот или другой ход событий... На тему о значении царского интереса и царского слова в пугачевщине выше было сказано достаточно, но здесь мы не можем не подчеркнуть того обстоятельства, что вера в „истинного государя", приходившего для „черни", удержалась в народе, несмотря на публичную казнь Пугачева и его сообщников и, вообще, несмотря на полное крушение всего предприятия. На вопрос А. С. Пушкина в селе Берде: „А ну-ка, дедушка, расскажи нам, сделай одолжение, про Пугача",— старик ответил: „Для кого Пугач, ваша милость, а для меня—царь-батюшка Петр Феодорович". С большим сочувствием высказалась о нем и 80-тилетняя казачка, беседовавшая с Пушкиным: „Грех сказать,—говорила она,—на него мы не жалуемся; он нам зла не сделал"... И все преступления Пугачева относились казачкой скорее к окружающим, чем к нему, и это вполне соответствовало обычаю

народа относить все несимпатичные ему проявления власти не к „царю“, а к „боярам“, вельможам, министрам: „не его воля была, — оправдывала старуха Пугачева, — наши пьяницы его мутили“ [1]. Очевидно, то обстоятельство, что Пугачев об'явил волю народу, было для простых людей неопровержимым никакими казнями доказательством его подлинности, как государя. Прошлая политическая, социальная и умственная жизнь простого русского народа сложилась так, что даже для самого мятежа против тягостей этой жизни, для крестьянской революции потребовался „царь-батюшка“...

В пугачевских местах долго простой народ не расставался с этой верой в приходившего народного царя. Современный нам собиратель материалов для истории пугачевщины свидетельствует, что „некоторые казаки, в особенности уральцы, и до сих пор не охотно делятся воспоминаниями прошлого: они простодушно и наивно верят еще, что наглый самозванец был действительно русский царь“ [2]. В народных воспоминаниях слышится сочувствие этому „царю“, как отголосок того чувства радости, с которым, по сообщению, например, Болотова, встречались слухи об успехах Пугачева крепостными слугами и чернью [3]. Иначе, мы знаем, чувствовали себя дворяне; но когда Пугачев был пойман, вполне естественна и та радость, которою было охвачено в этот момент дворянство, против коего Пугачев „наиболее восставал“. Один из дворян разбил себе губу в кровь, когда целовал курьера, привезшего известие о поимке страшного врага; другой, пиита Сумароков, написал оду по этому случаю; в ней он не мог даже „вообразить, какою мукою разить достойного мученья вечно!“ И пояснял растерянность своего воображенья так: „Твоей подобья злобы нет, и не видел доныне свет злодея столь бесчеловечна“; третий, архангельский губернатор Головцын, который из далекого края внимательно следил за движениями само-

---

[1] „Русский Архив“, 1900, № 1; „Русская Старина“, 1892 г., т. 75, стр. 7.

[2] „Русск. Арх.“, 1900, № 1.

[3] Записки, III, 377 и 378.

званца, так обрадовался поимке последнего, что велел кем-то раньше присланный ему портрет Пугачева „поместить в таком месте, куда никто без особенной нужды не ходит“ [1]. „Казанская помещица“, конечно, тоже была в восторге, и курьеров, привезших радостную весть, наградила по-царски [2].

Дворянство было весьма признательно Екатерине за победу над Пугачевым и пугачевщиной, и тот же пиита Сумароков в особом „стансе Симбирску на Пугачева“ (где он восхвалял этот город за „удаление древнего врага“ Разина от него и за то, что в стенах его сидит другой нынешний Разин, т.-е. Пугачев, а также и за то, что здесь же, „на горах вод Волжных“, „сияет“ Панин, очистивший те места) изобразил следующий лестный для Екатерины диалог между нею и народами края, бывшего ареной пугачевщины: „Народы тамошни гласят Екатерине: о, матерь подданных! спасла! спасла от-зол ты нас! Она рекла: всегда готова я, как ныне, спасти, чада, вас“ [3]. Это был, разумеется, комплимент императрице: „народы“ так гласить не могли, ибо в то время, когда Пугачев, как лютый зверь, сидел в железной клетке, народы находились совсем в другом настроении. „Неудовольствие народа, — писал один из иностранных наблюдателей, — не улеглось“, и он высказал опасение, „что, в случае нового народного бедствия, пламя мятежа снова может вспыхнуть“ [4]; но тем не менее самому дворянству было полное основание радоваться своему спасению от Пугачева и пугачевщины, и это радостное чувство спасения и признательность Екатерине догадливый дворянский поэт вложил в уста народов. Мы видели, каким ужасным, поистине „черным годом“, было время пугачевщины для благородного сословия, и если понятна радость его по поводу поимки Пугачева, то, с другой стороны, понятны и те чувства ужаса, отвращения и злорадства, которые долго в среде дворянства вызывались воспоминаниями

---

[1] „Русский Архив“, 1894 г., II, 111. — „Из семейных бумаг А. Н Корсакова“.

[2] Дубровин, цит. соч., 111, 303.

[3] Ibid., 311 и 312.

[4] „Русск. Стар.“, т. 86, стр. 142.

о Пугачеве и пугачевцах, чувства, в которых воспиталось несколько дворянских поколений. Так, например, в семейной хронике гр. Блудовых, один из коих погиб со всем семейством во время пугачевщины, отмечается ужас, с которым дети до третьего поколения слушали рассказ старых слуг о том, как пугачевцы размозжили череп о стену ребенку из этого семейства на глазах верной кормилицы, а графиня Блудова, столь, как мы видели, романтически смотревшая на подвиги волжских разбойников, иначе оценивала Пугачева... На девочку сильно повлияли рассказы о пугачевских зверствах, потому что много из блудовской родни было жертв пугачевщины под Казанью; естественно, гр. Блудовой нисколько не было жаль Пугачева, и „скорее" она чувствовала „какое-то" злорадное любопытство, когда доходило до описания железной клетки, в которую посадили „изверга" [1]. Кровавые эксцессы пугачевщины вызывали и в людях из народа прямое или косвенное их осуждение: так, например, старуха, раньше рассказывавшая о Пугачеве Пушкину, впоследствии с нескрываемым сочувствием сообщила посетившим ее лицам о гибели коменданта „Озерной" Харлова [2], его жены и ее брата, от Пугачева. „Уже никого нам так жалко не было, как коменданта,—говорила старуха,—как его повесили, так мы и залились слезами, все до одного, куда и страх девался". Жену коменданта, „барыню добрую, прекрасную", брата, „барина молодого", Пугачев с месяц держал у себя, а потом приказал их расстрелять, „да чтобы, — говорила рассказчица, — больше их напугать, велел прежде выстрелить мимо, а в другой раз расстрелять уже до смерти". Отец рассказчицы, заведывавший этим расстрелом, по словам ее, „упросил" Пугачева „застрелить несчастных сразу", а на другой день пошел на место казни, „чтобы поплакать над ними и похоронить как-нибудь". „Что же бы вы думали?—сказала старуха, дойдя до самого трогательного момента рассказа, — когда их расстреливали, то расставили - таки далеко друг от дружки, а тут батюшка нашел их обнявшись. Видно, их не

[1] „Русск. Арх.", 1889, I, 48 и 49. Воспоминания гр. А. Д. Блудовой.
[2] В „Русск. Арх.", 1902, III (в примеч.) ошибочно назван Сурин.

до смерти убили, так они сползлись, обнялись, да так и померли“ [1]. Подобные положения действовали на нервы простых, но хороших людей независимо от их общественного положения и отлагались на их психике в виде более или менее тяжелых воспоминаний; но мы все-таки и из этих приведенных, исполненных сочувствия к погибшим господам, слов старой казачки видим, что в тот момент, когда происходили ужасы пугачевщины, общечеловеческое чувство жалости к ее некоторым жертвам не помешало однако и плакавшим над ними служить Пугачеву верой и правдой, как своему государю: это значит, что в массовом чувстве ненависти низов населения к господам совершенно тонули одиночные случаи проявления по отношению к ним альтруистических чувств... Последние могли всплыть лишь в воспоминаниях, тем самым еще более оттеняя в глазах потомства мрачный колорит эпохи, усиливая чувство содрогания перед ней даже в позднейших поколениях русского дворянства. Это чувство, в свою очередь, вызывало опасения в дворянстве, как бы пугачевщина не повторилась. Невольно вспоминалась страшная пора, когда даже стороннему наблюдателю русской жизни было ясно, что брожение в народе не прекратилось и после Пугачева, а сами участники этой жизни, русские помещики, даже относительно хорошие, испытывали это впечатление при непосредственном общении с крестьянами. А тут еще возникали и такие поводы к означенным опасениям, как появление в 1780 г. нового самозванца в Поволжьи (Ханина), а в 1786 г. еще самозванца в Сибири [2]; хотя оба они не имели успеха, но тем не менее самым своим появлением указывали на оставшееся еще в народе брожение, лишь придавленное и ушедшее в глубь народной жизни. Брожение в народе не могло исчезнуть при остававшейся на-лицо главной порождавшей его причине — крепостном праве с его полным социальным, экономическим и моральным порабощением крестьян, со всеми его насилиями и злоупотреблениями помещичьей власти.

[1] „Русск. Арх.“, 1902 г., II, стр. 659.

[2] Мордовцев—„Самозванцы и понизовая вольница“, I. „Русск. Стар.“ 1905 г.: Отголоски пугачевщины, стр. 665 и 666.

Пугачевщина ничего не дала народу, кроме „несносной дороговизны“ хлеба и голода „в разных местах“ Казанской и Оренбургской губерний от „плохого урожая“ и „по причине буйства и разорения известного изверга и бунтовщика Пугачева“ [1], как пояснила сама императрица причины этого народного бедствия. Ясным показателем полного оскудения местностей, посещенных пугачевцами, служит невозможность собрать с них недоимку податей, как сказано в официальном документе, „от злодейского разорения и от неурожая хлебов“. Лишь там, где не было пугачевских толп, дело в этом отношении обстояло благополучно. Так, например, в 107 экономических селениях Котельнического уезда (экономических вотчинах), по официальным сведениям, „Пугачева и его сообщников не бывало“,—и в этих селениях подушные и оброчные деньги были собраны „сполна“ (душ мужеского пола в 107 селениях 2.719) [2]. Зато, где основательно пошарили эти страшные гости, там стало чисто — хоть шаром покати, и с голодного крестьянства даже экономических волостей, вообще более материально устойчивых, взыскать недоимку было „неуповательно“ „до будущего урожая“ [3].

Голод свирепствовал, сверх того, и в губерниях Воронежской и Нижегородской [4]: положение ухудшалось оттого, что в иных местах население должно было деньгами платить штраф за участие в пугачевском мятеже [5]. „Сломав рога Пугачеву“ [6], Екатерина на радости была не прочь

---

[1] „Русск. Арх.“, 1892 г., II, стр. 12; см. мое сочин. „Правит. и общество“ и пр. в Ученых Записк. Каз. у-та, 1902 г., июль — август, 76.

[2] М. арх. б. М. Юст., связка 590, дело 39, листы 67—76.

[3] Моск. арх. быв. Мин. Юстиции, ibid. Напечатанная в „приложении“ „ведомость“ о недоимке в связи „с замешательством“ в экономических селениях, между прочим, свидетельствует, что в Оренбургской губернии, где начался мятеж, в „замешательстве“ участвовало значительное большинство селений — более 63%, а между тем подати были уплачены почти без недоимки: значит, здесь крестьянская собственность не пострадала или пострадала очень мало. И это понятно: с в о и селения инсургенты, конечно, не разоряли.

[4] Дубровин, III, 321.

[5] Семевский, цит. сочин., I, 268.

[6] „Русск. Старина“. т. 74, стр. 258.

помочь народу: голодное бедствие она старалась облегчить. Помещикам она рекомендовала „уменьшение жестокости“ к крепостным и вообще умеренность в пользовании их крепостным положением, которое она называла „нестерпимым человеческому роду“, и она же заявила, что, если на это не согласиться, то крепостные и „против воли нашей возьмут рано или поздно“ свободу. Но эти благожелательные указания так и остались в ее время в рязряде тех пожеланий, коими, по пословице, ад вымощен. Крестьянская жизнь была и осталась адом, да и сама Екатерина этому консерватизму ее посодействовала, укрепив в „жалованной грамоте“ дворянству все его сословные привилегии. Императрица и не могла поступить иначе: ведь она была „казанская помещица“. Попрежнему она раздавала крестьян в огромных количествах [1], что в еще более усиленных размерах продолжал делать и Павел. Помещики продавали их на рынках оптом и в розницу, об'являя о продажах людей в „Петербургских Ведомостях“ вместе с об'явлениями о продаже мебели, лошадей, экипажей и т. п. (например: „продается лет тридцати девка и гнедая лошадь“, продается „малый 17 лет и мебель“, „сивые в яблоках мерины и муж с женой“, „пожилых лет девка и подержаные дрожки“ [2] и пр.); при этом продавцы нередко оценивали крепостных девушек много дешевле, чем борзых собак [3]. Удивительно ли после этого, что в крепостной деревне все было попрежнему, если только разлив помещичьего произвола еще более не усилился, как реакция пугачевскому движению против „благородных“. Радищев в своем знаменитом „Путешествии“, напечатанном в 1790 г., рисует мрачную картину крепостной деревни без всякого просвета; общим фоном этой картины является жалкое убожество крестьянской жизни с ее постоянными спутниками: голодом, нечистотой и усиленною смертностью детей, да и взрослых, — положение, обусловливаемое полным бесправием крепостных—с одной стороны и всемогуществом в этой жизни по-

[1] В течение всего царствования Екат. II было роздано ок. 800.000 госуд. крестьян.

[2] Романович-Славатинский, Дворянство в России, 338—340.

[3] Семевский, Крестьяне, I, 169—170.

мещиков, пьющих „слезы крестьян своих"—с другой. „Звери алчные, пиявицы ненасытные! что крестьянину вы оставляете? — восклицает Радищев, обращаясь к помещикам.—То, чего отнять не можете, воздух. Да, один воздух. От'емлете нередко у него не токмо дар земли, хлеб и воду, но и самый свет. Закон запрещает от'ять у него жизнь, но разве мгновенно. Сколько способов от'ять у него постепенно! С одной стороны почти веселие, с другой немощь беззащитная, ибо помещик в отношении крестьянина есть законодатель, судья, исполнитель своего решения и по желанию своему истец, против которого ответчик ничего сказать не может" [1]. Такова была общая характеристика положения крепостных в конце царствования „казанской помещицы", такова была защита их первым по времени интеллигентным народником. Сразу было видно, что Радищев—убежденный, горячий друг порабощенного крестьянства, „мертвого" „в законе", но могущего быть „живым", если оно „того захочет"; так думал его печальник — Радищев, и перед Екатериной, прочитавшей страстную, но правдивую книгу неожиданно об'явившегося писателя не в привычном для „Фелицы" стиле, книгу, в которой послышалось неподдельное искреннее чувство негодования и вражды к мучителям и насильникам, сейчас же мелькнула другая фигура защитника народного—Пугачева,— и книга представилась призывом к бунту. Этот новый призыв показался ей тем более опасным, что в книге, кроме правды и искреннего чувства, было много ума и понимания той роли, какую по отношению к крепостному праву играла „сама премудрая мать отечества". И императрица, как сообщает ее секретарь Храповицкий, нашла, что Радищев „бунтовщик, хуже Пугачева" [2]. Напуганная революцией во Франции, Екатерина теперь „хуже Пугачева" считала французских революционеров, „заблуждением" которых сочла зараженным и Радищева; последний показался ей „первым подвизателем французской революции в России", стремящимся „к умалению почтения к власти и властям, к при-

[1] „Путешествие". London, 1858, стр. 311 и 312.
[2] Ibid., 105, примеч.

ведению народа в негодование противу начальников и начальства", „к возмущению крестьян против помещиков", как о том Екатерина писала в полемических „примечаниях" на бунтовскую книгу Радищева [1]. Но на самом деле, для Екатерины и русского дворянства Пугачев был куда страшнее Радищева и „заразы французской", ибо он был плотью и кровью от самого народа и явился из его среды, выразил его настроение и вызвал своим появлением пугачевщину.

От страшного призрака последней не могли освободиться дворяне и после Екатерины, тем более, что крепостные сами все более и более чувствовали безвыходность своего положения. „Где теперь безопасность?—спрашивал в 1812 г. один из дворян и пояснял свое беспокойство следующим образом:—Мужики наши, по вкорененному Пугачевым и другими молодыми головами желанию, ожидают какой-то вольности". Этот господин очень боялся народного восстания, ибо „вольность" он отрицал, а пугачевщина дала ему понимание, что „наши мужики не тише могут катать человеческими головами, как и французы в Париже"... Из письма его же 1816 г. видно, что пугачевщина прямо-таки не давала ему покоя: он вспоминал, что Пугачев „везде рассеявал, что если в России подпоры подрубить, то забор сам упадет, а потому и восставал на дворян, зачал крестьян делать вольными" и проч. Дело казалось корреспонденту-дворянину тем опаснее, что народный бунт потушить в России трудно, и это-де хорошо знал и Пугачев: „ежели и пошлют войско,—рассуждал наш дворянин,—то они не успеют где тушить возгоревшийся пожар" [2]. Недовольство народа в первой четверти XIX в., видимо, было настолько велико, что дворяне думали, что оно было меньше в то время, когда „сброд к Пугачеву приставал" [3]. В общем это суждение было обычной ошибкой перспективы, но в нем есть доля правды: пугачевщина и для народной психики не прошла бесследно. Беспощадно-жестокое подавление пугачев-

[1] В. А. Мякотин: „На заре русской общественности". 2-е издание, 49—52.

[2] „Русск. Арх.", 1872 г., X. стр. 1860, 1886 и 1879

[3] „Русск. Арх.", 1893 г., II, 538.

щины угнетающим образом подействовало и на психику того крестьянского поколения, которое подверглось бесчеловечным репрессиям: в течение двух десятилетий после пугачевщины крестьянство молчало, даже обычное крестьянское движение почти прекратилось. Но с течением времени в крестьянских воспоминаниях о пугачевщине стал преобладать не момент усмирения, а момент временного успеха восстания, тот момент, когда было „их", крестьян, „время", когда они, а не помещики „царствовали" в огромном районе мятежа,—и это воспоминание сообщало известную бодрость крестьянской душе, внушало крестьянину мысль, что придет время, когда крестьянство, наконец, добьется и полной победы над его „злодеями"—дворянами, помещиками в вековой (классовой) борьбе за хозяйское положение в стране. И крестьянство, при продолжении невыносимого „рабства", становилось год от году все менее и менее терпеливым, все менее и менее соглашалось безропотно оставаться в крепостном ярме.

Декабристы понимали все это и, говоря о положении крестьян, тоже вспоминали о пугачевщине и считали возможным повторение ее при наличности крепостного права. И действительно, чем дальше в XIX ст., тем более крепостное крестьянство эмансипировалось от векового терпения, тем более оно становилось активным в своем противодействии самовластию помещиков. Это настроение выражалось в разного рода агрессивных действиях крестьян против помещиков, особенно в учащении крестьянских волнений, возникавших в разных местах государства. Волнения опять грозили перейти в общенародное восстание, в общую крестьянскую борьбу за „вольность", которая давно и тщетно ожидалась от царя крепостными... И перед правительством и дворянством снова мелькнул кровавый призрак пугачевщины. На него-то и указал Александр II, когда в своей речи к дворянству Московской губ. высказал мысль, что „лучше уничтожать крепостное право сверху, нежели дождаться того времени, когда оно начнет само собой уничтожаться снизу" [1], путем народного мятежа. В том же

[1] Татищев: Имп. Алекс. II, его жизнь и царствование, т. I, стр. 302.

смысле высказывался и один из либеральных историков-публицистов и общественных деятелей эпохи крестьянского освобождения. „В моих глазах,—писал К. Д. Кавелин,— решить у м н о этот (крестьянский) вопрос значит спасти нас от б е с с м ы с л е н н о й р е з н и“... Кавелин советовал „умно“ освободить крестьян, дабы не возникло новой пугачевщины.

Дворянство, увидав перед собой дилемму,—или освобождение „по манию царя“, или пугачевщина,—должно было примириться с первым выходом из слишком затянутого крепостною цепью положения, невозможного более для крестьян и опасного для дворянства. Крестьянские бунты и волнения сильно подточили крепостную „цепь“,—потому только и достаточно было знаменитого „почерка“ царского пера, чтобы эта „великая цепь порвалася“—„порвалась и ударила одним концом по барину, другим по мужику“. „Мужик“, хотя и сильно потерпел при разрывании цепи, все-таки вышел из круга, казавшегося до того момента совсем заколдованным, мистическим кругом, и тем самым сделал первый шаг к завоеванию себе лучшей жизни. И мы должны признать, что в таком разрешении крепостного вопроса, вызванном железными условиями жизни, экономическою и политическою необходимостью, известную психологическую роль сыграла и задолго до того бывшая пугачевщина. Не дав крепостным желанной ими воли, пугачевщина не прошла бесследно для психологии народной жизни: она оставила в ней весьма внушительные воспоминания, устрашавшие дворянство и правительство в минуты начинавшегося обострения крепостной оппозиции, воспоминания, вызывавшие со стороны крестьян настойчивое стремление к „вольности“ как сознавали сами дворяне, „по примеру Пугачева и других молодых голов“. А эта „психология“ несомненно содействовала отмене крепостного права в законодательном порядке... Так пугачевщина косвенно, через народную психологию, поддержала вековые стремления крестьянства своим замогильным голосом и таким образом, хотя и дорогой, страшной ценой в прошлом, как бы сослужила свою службу отдаленному будущему русского народа...

ВЕДОМОСТЬ.

В которых губерниях, провинциях и городах **по экономическим селениям** было замешательство.	По ревизии **душ** по уездам „крестьян состоит“.	Много ль в замешательстве в экономических селений **душ**.	Собрать подлежало на 1774 г.	Собрано.		В недоборе.	
			Руб.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
А.							
Казанской губ.							
По Казанскому уезду	27.296 д.	91 селен.					
	190 селен	14.920 д.	54.592	48.648	45¼	5.943	54¾
Вятской провинции.							
По Вятскому уезду.	30.710 д.	Не были	61.420	59.110	26	2.309	74
	18 сел.						
По Кунгурскому . .	6.141душ.	12 селен.					
	65 сел.	1.534 д.	12.282	12.282	—	—	—
По Козьмодемьянскому	2.332 д.	2 сел.					
	6 сел.	869 д.	4.664	4.229	—	435	—
Пензенской провинции.							
По Пензенскому уезду	4.906 д.	20 сел.					
	25 сел.	3.749 д.	9.812	9.002	50	809	50
Симбирской провинции.							
По Симбирскому уезду	20.312 д	13 сел.					
	174 сел.	5.272 д.	40.624	12.165	—	28.459	—
По Сызранскому. .	2.072 д.	9 сел.					
	9 сел.	1.677 д.	4.142	4.142	—	—	—
Итого по Казанской губ. . .	93.763 д.	147 сел.					
	480 сел.	28.921 д.	187.536	149.579	21¼	37.956	78¾
В.							
Оренбургской губернии.							
По Оренбургскому уезду	3.840 д.	11 сел.					
	25 сел.	1.833 д.	7.680	7.380	—	300	—
По Мехомскому . .	3 391 д.	18 сел.					
	18 сел.	3.391 д.	6.782	6.782	—	—	—
По Исецкому	909 д.	4 сел.					
	4 сел.	909 д.	1.818	1.818	—	—	—
Итого по Оренбургской губ. . . .	8.140 д.	33 сел.					
	47 сел.	5.224 д.	16.280	15.980	—	300	—

В которых губерниях, провинциях и городах **по экономическим селениям** было замешательство.	По ревизии **душ** по уездам „крестьян состоит".	Много ль в замешательстве из экономических селений **душ**.	Собрать подлежало на 1774 г.	Собрано.		В недоборе.	
			Руб.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
C. Нижегородской г.							
По Нижегородскому уезду	25 487 д. 104 сел.	10 селен. 4.400 д.	50.974	47.730	—	3.244	—
Арзамасской провинции.							
По Арзамасскому у	5.710 душ 22 сел.	2 селен. 480 д.	11.420	11.420	—	—	—
Алаторской провинции.							
По Алаторскому . .	8.392 д. 480 сел.	39 сел. 7.508 д.	16.784	15.826	—	958	—
По Курмышскому .	1.902 д. 9 сел.	3 сел. 440 д.	3.804	3.804	—	—	—
Итого по Нижегородской губ. . .	41.491 д. 126 сел.	54 сел. 12.828 д.	82.982	78.780	—	4.202	—
D. Воронежской губ.							
Тамбовской провинции.							
По Тамбовскому у.	14.057 д. 19 сел.	19 сел. 373 д.	28.114	27.540	—	574	—
По Верхнему Ломову	1.975 д. 7 сел.	2 сел. 84 д.	3.950	3.469	—	481	—
E. Воронежской губернии.							
По Шацкому уезду.	9.970 д. 30 сел.	5 сел. 7 д.	19.940	13.723	—	6.217	—
По Керенску. . .	4.516 д. 4 сел.	2 сел. 3 д.	9.032	9.032	—	—	—
По Краснослободску	252 д. 4 сел.	Не были в замеш.	504	504	—	—	—
Итого по Воронежской губ.	30.770 д. 64 сел.	28 сел. 467 д.	61.540	54.268	—	7.272	—
Итого по вышеозначенным 4-м губ.	174.169 д. 775 сел.	262 сел. 46.540 д.	347.338	298.607	21¼	49.730	78¾

Московский Архив быв. Министерства Юстиции, связка 590, листы 532—537.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	стр.
Предисловие ко 2-му изданию	5
Предисловие к 3-му изданию	—
Вступительные замечания	7
I. Условия жизни крестьянства, подготовившие пугачевщину, в царствование Екатерины II	14
II. Имя Петра III в народе и зарождение самозванческого замысла	45
III. Почему и как самозванческий замысел Пугачева был принят яицким казачеством	58
IV. Особенности того края, где разразилась пугачевщина	65
V. Социальный состав пугачевщины в связи с общим ходом мятежа	75
VI. Интересы, наиболее ясно раскрывшиеся во время пугачевщины	93
VII. Чувства и поступки пугачевщины	107
VIII. Екатерина II и Пугачев или крах пугачевщины	119
Заключение: социологическое и психологическое значение пугачевщины	140
Приложение: Ведомость о недоимках в связи с замешательством в экономических селениях	153

Рисунки:

Пугачев в тюрьме	2
Снимки знаков, какие ставил Пугачев вместо своей подписи	89
Пугачев в клетке	129

Того же автора.

1. Русские торгово-промышленные компании в первой половине XVIII ст. 2-е издание. Казань, 1922 г.

2. Правительство и общество в их отношениях к внешней торговле в царств. Екатерины II. Казань, 1902 г.

3. Примечания к „Истории Пугачевского бунта" А. С. Пушкина, с новым портретом Пугачева (364 страницы), в сочинениях Пушкина, т. XI, Петербург, 1914 г.

4. Разиновщина, как социологическое и психологическое явление народной жизни. 4-е издание. Москва, 1920 г.

5. Чтения по истории Среднего и Нижнего Поволжья. 2-е издание. Казань, 1921 г.

6. Чтения по истории Сибири. I-й вып. 2-е издание и 2-ой выпуск. Москва, 1921 г.

7. Исторические характеристики и эскизы. Том. I-й, Казань, 1922 г.

8. Исторические характеристики и эскизы, т. II-й. Казань, 1922 г.

9. Крестьянская революция 1917 г. и временное правительство. Исследование по архивным документам (Журнал Казанского бюро Истпарта—„Пути Революции 1921 г.", № 1).

10. Призрак социализма пред Николаем I („Былое", 1924 г., № 24).

11. Победоносцев („Былое", 1924 г., № 25).

12. Народные движения в России до XIX в. Москва, 1924 г.

13. Чтения по истории России. Развитие самодержавия в XV—XVI вв. и революция в нач. XVII в. Казань, 1924 г.

Печатаются: 1) „Кто такие были декабристы и за что они боролись?" Социолого - психологическая характеристика. 2) „Три Александра".

Рабочее Издательство «ПРИБОЙ».
Проспект 25-го Октября, 52.

ЛЕНИНСКАЯ БИБЛИОТЕЧКА.

Отдельные сочинения В. И. ЛЕНИНА:

Вып. 1. Что делать. Наболевшие вопросы нашего движения . . . . . 40 к.
„ 2. Шаг вперед, два шага назад (кризис в нашей партии) (Печ. третье издание) . . . 60 „
„ 3. Две тактики социал-демократии в демократической революции. . . . . 35 „
„ 4. Империализм, как новейший этап капитализма. . . . . 30 „
„ 5. Государство и революция. . . . . 30 „
„ 6. О Марксе и марксизме. . . . . 20 „
„ 7. Очередные задачи Советской власти. . 15 „
„ 8. О продовольственном налоге . . . . . 10 „
„ 9. О кооперации . . . . . 10 „
„ 10. От русской революции к мировой (письма к иностранным рабочим). (Печат.)— „
„ 11. О религии . . . . . 7 „
„ 12. Уроки Ильича . . . . . 40 „
„ 13. Что такое друзья народа. (Печатается) . — „
„ 14. Империалистическая война и раскол социализма . . . . . 50 „
„ 15. Детская болезнь „левизны“ в коммунизме. (Печатается). . . . . — „
„ 16. Пролетарская революция и ренегат Каутский. (Печатается) . . . . . — „
„ 17. О национальном вопросе. (Готов. к печати) — „
„ 18. На пути к Октябрю. (Готов. к печати) . . — „
„ 19. Последние речи и статьи (Готов. к печати) — „
„ 20. Крестьянство и революция в России. (Печатается) . . . . . — „

РАБОЧЕЕ „ПРИБОЙ“ ИЗД-СТВО

Проспект 25 Октября, 52.

Вышла в 3-ем дополненном издании

КРАСНАЯ ХРЕСТОМАТИЯ

Книга для чтения в партшколах и школах грамоты.

Рекомендована ГУС'ом, как пособие для совпартшкол и школ политграмоты.

228 стр. **Цена 70 к.**

Вышла новыми изданиями и поступила в продажу

ХРЕСТОМАТИЯ КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ.

Составл. В. А. Фейдер.

Рекомендована ГУС'ом, как учебное пособие при прохождении курса истории классовой борьбы—для совпартшкол, школ взрослых, рабфаков и т. д.

Часть I-я (изд. 4-ое). Крестьянство и пролетариат. Ц. 80 коп.
Часть II-я (изд. 3-ье). Революция на Западе. Ц. 70 коп.
Часть III-я (изд. 3-ье). Революция в России. Ц. 1 р. 30 к.

Рабочее „ПРИБОЙ“ Изд-ство

ЛЕНИНГРАД, Проспект 25-го Октября, 52.

Сектор „ЮНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ“.

Г. ЗИНОВЬЕВ.—Что такое Комсомол и чем он должен стать (печ. 2 изд.) Ц. 15 коп.

Г. САФАРОВ.—О ленинском воспит. молодежи. 2 изд. Ц. 12 к.

ЛЕНИНСКОЕ ПОКОЛЕНИЕ. Статьи, воспоминания, очерки, материалы и документы по юношескому пролетарскому движ. в Ленингр., вып. I, 1916—1918 г. Ц. 70 к.

Г. ДРЯЗГОВ. На пути к Комсомолу (печ. 2 изд.)

И. СКОРИНКО. Комсомольцы Октября. Ц. 50 к.

К. ПАЛЛОН. Похождения боцмана Гирке (рассказы).

К. ПАЛЛОН.—Черный палим (пов.) (печ.).

К. ЭВАЛЬД. История двуногого (повесть с рисунками художника Рудакова). Ц. 30 к.

Я. КОРЧАК. Приключения короля Матюша. Ц. 1 р.

П. КОРЖИНСКИЙ. В зеленях (повесть). Ц. 50 к.

ИСПОВЕДЬ КРОВАВОЙ СОБАКИ (соц.-дем. Носке о германской революции 1918 г.). Ц. 35 к.

А. ШУБНИКОВ. „Белый уголь“ и электричество на службе человеку. Ц. 45 к.

Л. РУБИНШТЕЙН. Пошевели мозгами. Ц. 30 к.

СПУТНИК ЮНОГО ПИОНЕРА Ц. 35 к.

В. СОРОКИН. Законы и обычаи юных пионеров. Ц. 8 к.

X ГУБС'ЕЗД РЛКСМ (стеногр. отчет). Ц. 80 к.

ПЯТЬ ЛЕТ КИМ'а (сборник) Ц. 75 коп.

РЕЗОЛЮЦИИ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ VI Всесоюзного с'езда РЛКСМ. Ц. 50 коп.

Вл. БЕРНШТАМ.—В тисках ссылки. Ц. 60 коп.

О. БАРАБАШЕВ.—Основоположники марксизма о детском труде (печ.).

РАБОЧЕЕ „ПРИБОЙ“ ИЗД-СТВО

Просп. 25 Октября, 52

У. Синклер.—Жизнь на развалинах (Комедия 2000-го года). . . . . — р. 60 к.
У. Синклер.—Деньги (роман) . . . . . — „ 80 „
У. Синклер.—В поисках правды. . . . — „ 60 „
У. Синклер.—Юг и Север (роман). . . 1 „ — „
У. Синклер.—Пьесы. . . . . (Печат.).
Андрей Струг.—История одной бомбы. — „ 90 „
Андрей Струг.—Люди подполья. . . . — „ 75 „
А. Аросев.—Никита Шорнев . . . . . 1 „ — „
Эрнст Пуль.—Гавань (роман) . . . . . 1 „ 20 „
М. Бартель.—Площадь народн. мести. . — „ 30 „
Уэллс.—Сон (фантастический роман). . 1 „ — „
М. Козаков.—Попугаево счастье (расск.).— „ 50 „
М. Сивачев.—Федор Быльников (ром.). — „ 50 „
Лоэле.—Цюллингер и его выкормки. . — „ 50 „
Б. Никкольсен.—Глориана (роман). . . — „ 50 „
Саур.—Цена крови (повесть) . . . . . — „ 35 „
В. Андреев.—Канун (рассказы) . . . . — „ 50 „
Д. Четвериков.—Сытая земля. . . . . — „ 70 „
П. Арский.—Голгофа (трагедия). . . . — „ 60 „
Витфогель.—Кто самый глупый. . . . . — „ 50 „
В. Князев.—Ржаные апостолы (Клюев и клюевщина) . . . . . — „ 85 „
Львов-Рогачевский.—Книга для чтения по новейшей русской литературе. 2 „ — „
В. Ропшин (Савинков).—Конь вороной (повесть). . . . . — „ 60 „
Никэд Мат.—Желтый дьявол (роман из эпохи гражданской войны), т. I. . 1 „ — „
Лавренев.—Ветер (сб. расск. и пов.) . . (Печат.).
Михаил Чесс.—Елоп (сборн. рассказ.). . (Печат.).
Щеглов.—Универсальные лучи. . . . . (Печат.).
Стройка.—(Лит.-худ. альманах) стр. 207. 1 „ 50 „
Альманах для всех.—Книга 1-ая стр. 269. 2 „ — „

9/6 8409 R

Цена 75 коп.

СКЛАДЫ ИЗДАНИЙ:

Ленинград: Просп. 25 Октября, 52, магаз. „Книжные Новинки". Телеф. № 5-45-77.

Москва: Московское отд. издательства „ПРИБОЙ", Лубянский пассаж, №№ 47, 48, 49. Тел. 2-24-09